

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

На правах рукописи



Волвенкин Михаил Николаевич

**Медицинский дискурс
в творчестве Льва Толстого 1850–1860-х годов**

Специальность 5.9.1. Русская литература
и литературы народов Российской Федерации

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Научный руководитель
доктор филологических наук, профессор
К.А. Нагина

Воронеж – 2024

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Медицинский дискурс в творчестве «молодого» Толстого	17
1.1. Самовоспитание как самолечение в дневнике 1847 года.....	17
1.2. Образ доктора в «Набеге»	25
1.3. Лев Толстой и магнетизм	37
1.4. Поиски лечения: от гимнастики к труду	50
Глава 2. Война и медицина в «Севастопольских рассказах»	69
2.1. Лев Толстой и Николай Пирогов в Севастополе	69
2.2. Доктора и сестры милосердия в «Севастопольских рассказах»	79
2.3. «Эпидемия тщеславия»	92
Глава 3. Медицинский дискурс в романе «Война и мир»	110
3.1. Социальный аспект медицины в «Войне и мире»	110
3.2. Специфика военной медицины в «Войне и мире»	118
Заключение	138
Библиографический список	141

Введение

Лев Толстой интересовался медициной практически на всем протяжении своего творческого пути. Так, будучи студентом Казанского университета, будущий писатель вносит в дневник запись с перечнем задач: один из пунктов – изучить практическую медицину и часть теоретической. Во время службы на Кавказе Толстой с любопытством следит за местными методами лечения, записывает их. Кроме того, в 1850-е гг. Толстой читает статьи о магнетизме, находит некоторые соответствия между практикой магнетизеров и народной медициной.

События Крымской войны сводят его в осажденном Севастополе с выдающимся хирургом и анатомом – Н. И. Пироговым. И эта встреча, безусловно, не проходит бесследно. При общем, казалось бы, отрицательном отношении Толстого к врачам – Пирогов вызывает у него уважение. Некоторые исследователи, такие как О. Матич и Д. Калинин, усматривают определенные связи между толстовским творческим методом и нововведениями Пирогова в области медицины. В статье Калинина «Севастополь в августе 1855 года. Война, фотография и хирургия: рождение поэтики модерна» (2012) даже высказывается предположение об общих для писательской деятельности Толстого и научной деятельности формалистов «эпистемологических истоках»: «Эпистемологические истоки этой модели – и в случае Толстого с его критикой стершегося литературного канона, и в случае формалистов с их ревитализирующим исследовательским вторжением в текст, возвращающим восприятие его заезженной историей конструкции, – можно обнаружить в практике жестокой, но действенной военно-полевой хирургии, разработанной известным русским хирургом и одним из основателей топографической анатомии Николаем Пироговым (1810–1881), с которым Толстой познакомился во время осады Севастополя» [Калинин, 2012, с. 53–54].

В феврале 1860 г. Толстой в письме к А. А. Фету просит своего адресата прислать «что есть хорошего из лечебников людских для невежд, и еще

лечебников ветеринарных», а также осведомляется о стоимости «лучшего коновальского инструмента», «пары людских ланцетов и банок»¹. Не совсем понятно, для кого все это предназначалось: пробовал ли врачевать сам писатель² или нет. Однако литературой по медицине он интересуется, собирает ее в своей библиотеке. Как отмечает Г. А. Кулижников, медицинская и близкая к ней литература к концу жизни Толстого занимала в ней четвертое место после художественной, религиозно-философской и социально-политической.

В 1860-е гг. формируется то отношение Толстого к современной ему медицине, о котором он откровенно заявит в публицистических и религиозно-философских работах 1880-х гг. Врачи в художественном мире писателя, как правило, не могут помочь больному, не могут облегчить его страдания. Причина такого безнадёжного положения в самой сути медицины, которая уже в «Войне и мире» (1865–1869) сравнивается с колдовством. Оба этих «знания», по Толстому, представляют собою иллюзию, они основаны исключительно на убеждении, а не на фактах. Кроме того, медицина представляет собой «искусственное» ухищрение, поддерживающее «телесную жизнь» человека вне «естественных условий труда», подобно тому, как «газеты, театры, концерты, визиты, балы, карты, журналы, романы» поддерживают «духовную жизнь». Толстой сравнивает тело с паровым двигателем, в котором пар есть аналогия выходящей из человека энергии. Медицина учит жить с «заткнутыми клапанами»: «Все выдумки медицины и гигиены для людей нашего круга подобны тому, что придумывал бы механик для того, чтобы, растопив неработающий паровик и заткнув все клапаны, сделать так, чтобы паровик не разорвало» (Толстой. Т. 25; с.385).

¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Москва; Ленинград, 1937. Т. 60. С. 325–326. Далее цитаты из произведений и писем Толстого приводятся по этому изданию: Т. 1 – 90. 1928. – 1958. – с указанием: «Толстой» – а также номера тома и страницы арабскими цифрами, разделенными точкой с запятой.

² Такой факт имел место в жизни писателя. «Одна баба» пригласила его «как костоправа», о чем он рассказывает в письме С. А. Толстой: «А я ходил на деревню к бабе, пригласившей меня, как костоправа, к вывихнутой в локте руке (застарелый вывих, при к[отором], вероятно, возвратится владение рукой)....» (Толстой. Т. 84; с. 72).

Религиозно-философское сочинение «О жизни» (1887) Толстой начинает с истории о мельнике («сыне и внуке мельника»), «твердо знающем», как работать на мельнице. Этот человек не знал устройства мельницы, но умело обращался с ней, «жил и кормился». Однажды он задумался о «механике», «стал наблюдать, что от чего вертится», после чего ясно понял: «все дело в плотине и в реке». Мельник стал изучать реку, «и мельница его совсем разладилась». Для Толстого это пример того, как развивается современная ему наука, отвлекающаяся от важного и уходящая в «безумные» рассуждения. С медициной все аналогично: доктор, изучая устройство человеческого тела, не сообразует свое исследование с «законом жизни», смысл которого есть столько, сколько «сработал», а «не работавши не есть».

Казалось бы, люди науки не должны были обращать внимание на эти рассуждения. Но сама фигура Толстого еще при жизни стала частью медицинского дискурса конца XIX – начала XX в. Более того, в советскую и постсоветскую эпоху внимание к писателю со стороны членов медицинского профессионального сообщества не ослабевало, о чем свидетельствуют публикации, неоднократно появлявшиеся в медицинских журналах, в частности, статьи «Смерть, болезнь и врач в художественных произведениях Л. Н. Толстого» А. Т. Лидского (1929), «Медицинские темы в произведениях Л. Н. Толстого: к 50-летию со дня смерти» (1960) Е. И. Лихтенштейна, «Болезнь человека и врач в творческом отображении Л. Н. Толстого» Е. Б. Меве, «Л. Н. Толстой и санитарное просвещение» (1979) А. Я. Черняка и Л. В. Смирновой, «О творческом долголетии и здоровом образе жизни Л. Н. Толстого» (2006) и «Хирургические болезни графа Л. Н. Толстого (к 100-летию со дня смерти писателя)» (2010) М. И. Давидова. Отдельного упоминания заслуживают исследование Э. Конюс «Лев Толстой и пропаганда медицинских знаний» (1940), в котором освещается вопрос об отношении Толстого к врачам и медицине, а также рассматривается его участие в работах врачей П. С. Алексеева, А. М. Богомольца, Е. А. Покровского, В. В. Рахманова, А. Стокгем; «Пособие по медицинской деонтологии» (1974) Е. И. Лихтенштейна, в котором «основные положения врачебной этики ярко

проиллюстрированы деонтологическим элементами в творчестве Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Г. Флобера»; объемный труд Г. А. Кулижникова «Лев Толстой и медицина» (1999), в котором были собраны высказывания писателя о врачах и медицине, сведения о перенесенных им заболеваниях, а также статьи самого доктора, посвященные теме «Толстой и медицина».

Одним из зачинателей этой тенденции был И. И. Мечников, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908). В 1891 г. он опубликовал статью «Закон жизни», в которой вступил в полемику со взглядами Толстого на физический труд и «женский вопрос». Отдельного внимания заслуживает мотивация Мечникова: «Я только потому и решился заговорить об учениях гр. Л. Толстого, что в основу их положен им чисто рационалистический, естественно-исторический принцип: человек есть животная машина, своеобразно устроенная и пригодная для совершенно определенных действий» [Мечников, 1925, с. 201]. Ученого «задевает» то, как его оппонент аргументирует свою позицию, какие слова и выражения он использует. Труд необходим человеку, потому что такова его «природа», потому что это «свойственно» человеку, как птице «свойственно» летать, считает Толстой. Эти рассуждения Мечников опровергает рядом фактов, в частности, напоминает о страусе, которому должно быть «свойственно по природе» летать. Этот вопрос о понятиях совмещается с очевидными разночтениями в эпистемологии. Толстой, можно сказать, заходит на «чужую территорию», но со своей «истиной», чем вызывает соответствующую реакцию: «Чересчур продолжительное упражнение мышечной системы, очевидно, не оставило ему достаточно времени, чтобы ознакомиться со многими научными вопросами, относительно которых он часто высказывает очень резкие и совершенно неверные суждения (например о дарвинизме, о бесполезности исследований, о протоплазме и о мн. др.)» [Там же, с. 214]. «Природа» человека неизменна, одинакова во всех, утверждает он. «Природа» человека, возражает Мечников, непрерывно изменчива, и нужно ее направлять. Отсюда расхождения в осмыслении медицины.

Впрочем, другую реакцию вызывают описания смерти и болезни в художественных произведениях Толстого. К. А. Богданов отмечает: «Вместе с тем важно заметить, что в изображении болезни и смертей своих героев Толстой – при всей декларативной неприязни к медицине – вполне безупречен именно с медицинской точки зрения» [Богданов, 2017, с. 314]. Это подтверждает, к примеру, К. Н. Леонтьев, получивший медицинское образование, служивший военным врачом во время Крымской войны. Рассуждая о «Смерти Ивана Ильича» (1886) в «критическом этюде» «О романах гр. Л. Н. Толстого» (1911), он подчеркивает, что Толстой в описании болезни и смерти сохраняет «и медицинскую, и нравственную правду»: «Многія хроническія страданія брюшныхъ органовъ причиняють жесточайшія боли. Мнѣ кажется, что гр. Толстой хотѣлъ указать на образованіе внутренняго нарыва, когда онъ упомянулъ о внезапно начавшейся подѣ конецъ *стрѣляющей* и *винтящей* – жестокой боли. <...>Видалъ я и самъ такихъ умирающихъ» [Леонтьев, 1911, с. 58–59].

С позиции «читателя-врача» написано сочинение доктора медицины Н. Ф. Голубова «Болезнь и смерть Ивана Ильича у Толстого и Доктора Паскаля у Эмиля Золя» (1909). Несмотря на то, что Толстой не использует «тонких технических медицинских терминов и подробностей», допускает небольшие, но простительные ошибки, ему удастся изобразить болезнь так, что всякий врач, да и «любой студент медик 3-го курса», сможет ее определить: «Господа, прочитавъ рассказъ Толстого, мы почти с увѣренностью можемъ сказать, что Иванъ Ильичъ умеръ отъ рака въ брюшной полости, гдѣ-то въ области слѣпой кишки или правой почки» [Голубов, 1909, с. 6]. Описание же болезней и смертей в романе Э. Золя «Доктор Паскаль» (1893) Голубов сравнивает с фантазиями Ж. Верна и М. Корелли, подтверждая справедливость такого сравнения, к примеру, историей «самовозгорания» старого пьяницы Маккара. «Смерть Ивана Ильича» (1886) не вызывает усмешку или раздражение у «врача-читателя», потому что Толстой не пытается быть «патологом» или «патолого-анатомом».

Медицинские издания, выходившие в издательстве «Посредник», как правило, проходили через редактуру Толстого. Э. Конюс отмечает, что писатель

большей частью лично занимался отбором работ и рекомендовал их к публикации. Иными словами, он сам стремился влиять на медицинский дискурс своей эпохи. В 1888 г. Толстой, прочитав статью врача-педиатра Покровского, записывает в дневнике: «Был Покровский, привез свою статью. Очень уж дурно написано и опять тот же общий недостаток всех научных знаний, обращенных к массам: или ничего не говорить (вода – мокрая) или не может говорить, п[отому] ч[то] на разных языках говорим, разной жизнью живем» (Толстой. Т. 50; с. 5–6). «Статья», которую он упоминает, – книга «Первоначальное физическое воспитание детей. (Популярное руководство для матерей)» (1888). Толстой предлагает Покровскому адаптировать ее «для народа». Рукопись брошюры «Об уходе за малыми детьми» (1889) подвергается значительным изменениям. Конюс в своем исследовании «Лев Толстой и пропаганда медицинских знаний» подчеркивает: «В брошюре почти не осталось мест, не тронутых рукой Толстого» [Конюс, 1940, с. 27]. Толстой делает значительные стилистические правки, придумывает окончательный вариант названия, а также добавляет собственные соображения, к примеру, расширяет главу о вреде соски дополнительной аргументацией [Там же, с. 22–43].

Все это подтверждает давно устоявшуюся в литературоведении мысль об интердискурсивном характере русской литературы XIX в. Р. Николози в монографии «Вырождение: литература и психиатрия в русской культуре XIX века» (2017) пишет об этом так: «В том обстоятельстве, что в России дискурс о вырождении сначала возникает в литературе, нет ничего удивительного, если принять характерную для русской литературы XIX века тенденцию служить пространством формирования различных дискурсов» [Николози, 2019, с. 21–22]. Дискурс о вырождении в русской литературе, как отмечает исследователь, возникает изначально в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» (1875–1880), тогда как во французскую литературу он приходит из психиатрии. Впрочем, особая близость к медицинским нарративам наблюдается в текстах русских писателей, начиная с 1840-х гг. Деятельность «натуральной школы», как утверждает С. Мертен, стала начальным этапом развития психологического

реализма из поэтики медицины [Мертен, 2006]. Инерция литературной традиции столь же сильно влияет на творчество Толстого, сколь стремление ей сопротивляться.

Между литературой и медициной существуют тесные связи. Размышляя о них, К. А. Богданов в книге «Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской культуры» (2014) приходит к следующему выводу: «Предпосылкой, служащей для объединения медицины и литературы, таким образом, прежде всего *риторико-коммуникативная специфика самой медицинской профессии*» [Богданов, 2017, с. 15]. В медицине реализуются различные риторические стратегии власти: произвола и принуждения, согласия и подчинения. Быть больным – это во многом определенная социальная роль, реализующаяся в рамках «властного» института. Безусловно, врачи имеют дело и с телом, неслучайно существует противопоставление «терапевт – хирург». Как показал М. Фуко в своей работе «Рождение клиники» (1963), вторжение «медицинского взгляда» в область некогда таинственную, в невидимое, в ткани и органы, произошедшее в конце XVIII – начале XIX в., связано со словом: увиденное необходимо перенести на бумагу, чтобы основать знание. В то же время литература значительно влияет на социальные представления о медицине: «Роль литературы в социальных представлениях о медицине выражается в большей или меньшей апологии различных способов врачевания, в создании устойчивых образов врачей и пациентов, в поддержании предубеждений и мифов, связанных с медицинской профессией» [Там же]. Активное изучение этой междисциплинарной области началось в конце XX в. как в литературоведческих, так и в медицинских исследованиях [Неклюдова, 2006].

Тема «медицина в литературе» широка, а потому в литературоведении сформировались разные подходы, которые в принципе могут сосуществовать, дополнять друга. «Мифология болезни» / «метафора болезни», «морбульный код», «медицинский дискурс» – понятия, стоящие не в одном ряду. Традиция изучения «мифов» о болезнях, обычно имеющих неясную этиологию, во многом сформировалась под влиянием эссе С. Сонтаг «Болезнь как метафора» (1978), в

котором исследователь раскрывает мифологию туберкулеза и рака в европейской культуре с целью формирования «здорового» подхода к болезни. В подобном ключе, например, написана книга У. Мозер «Чохотка: другая история немецкого общества» (2018), показывающая эволюцию представлений о чохотке в Германии XIX–XX вв.

Между терминами «морбуальный код» и «медицинский дискурс» существует, как мы полагаем, искусственное напряжение. Е. Г. Трубецкова в статье «Медицинский дискурс и/или морбуальный код: проблемы терминологии современного литературоведения» (2021) пишет: «“Морбуальный” (от лат. *morbus* – болезнь) является своего рода “антонимом” по отношению к “медицинскому” (“врачующему болезнь”). Обозначение “морбуальный” представляется более удачным, так как включает в себя не только проблематику, в той или иной мере обусловленную взаимодействием врача и пациента, но и отношение к болезни самого больного, изменение его мировосприятия, поведения и связанных с этим философских и нравственных вопросов» [Трубецкова, 2021, с. 188]. Почему понятие «медицинский» ограничивается взаимодействием врача и пациента, почему понятие «морбуальный» не ограничивается проблематикой, обусловленной лишь переживанием пациентом своей болезни, исследователь никаких пояснений не дает. Под «морбуальным кодом» же понимается «формально-содержательное единство, репрезентирующее в художественных текстах образы и (или) метафорические проекции морбуальности» [Там же, с. 189]. Примером работы в этом направлении является монография Трубецковой «“Новое зрение”: болезнь как прием острашения в русской литературе XX века» (2019).

Дискурс согласно Фуко – это речевая сторона формирования культуры, «совокупность высказываний, подчиняющихся одной и той же системе формирования» [Фуко, 2004, с. 210]. Причём «высказывание» учёный понимает как «речь в инстанции своего появления и способа существования» [Там же, с. 220]. Иными словами, медицинский дискурс в этом понимании – это совокупность определенных социальных способов «говорения», формирующих

медицинское знание, а не речевое взаимодействие врача и пациента, репрезентированное в художественном тексте.

Исходя из специфики взаимоотношений Толстого и медицины, указанной нами выше, мы считаем перспективным и интересным использование этого подхода, что, конечно, не отменяет и не умаляет другие. Исследований, полностью посвященных изучению медицинского дискурса в творчестве писателя, до сих пор еще не было. Впрочем, существует несколько интересных работ, затрагивающих эту тему частично. Богданов в уже упомянутой нами книге «Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской культуры» сосредотачивается на изучении патографии. Этот термин понимается ученым в широком смысле, «как релевантный обозначению *любых* дискурсивных репрезентаций болезни и смерти» [Богданов, 2017, с. 9]. В частности, в исследовании рассматривается причудливое переплетение литературы и медицины в XIX в., закономерно нашедшее свое отражение в некоторых особенностях творчества Толстого. В книге Р. Николози «Вырождение: литература и психиатрия в русской культуре XIX века» проясняется связь толстовских произведений с дискурсом о вырождении. Важный вклад в изучение взаимодействия литературы и медицины в русском культурном контексте внесла В. Соболев. В монографии «Febris erotica. Любовный недуг в русской литературе» (2009) она рассматривает топос любви как болезни в русской литературе XVIII–XIX вв., прослеживая его эволюцию от «петровских повестей» до романов Толстого, в которых осуществился «подрыв» вековой традиции репрезентации любовного недуга. Несмотря на это, можно констатировать, что медицинский дискурс в творчестве Толстого системно до сих пор не исследован. «Недостающим звеном» остается изучение ранних произведений писателя, редко попадающих в поле зрения ученых, ведущих работу в этом направлении. Этим обусловлена **актуальность** нашего диссертационного исследования.

Методологической основой выступают труды отечественных и зарубежных исследователей – философов: В. В. Библихина, Д. Агамбена, Р. Жирара, К. Касториадиса, М. Фуко, С. Сонтаг; филологов: Б. М. Эйхенбаума,

В. Шкловского, Ю. М. Лотмана, О. В. Сливичкой, К. А. Богданова, Е. Неклюдовой, В. Паперного, К. А. Нагиной, Р. Густафсона, С. Мертен, Р. Николози, Д. Орвин, В. Соболев и др.

Целью работы является изучение специфики воплощения медицинского дискурса в творчестве Льва Толстого 1850–1860-х гг. В соответствии с поставленной целью решаются следующие **задачи**:

1. Выявить систему взглядов писателя на медицину в 1850–1860-х гг.;
2. Проанализировать генезис и эволюцию толстовского восприятия болезни и лечения в дневниковых записях 1850–1860-х гг.;
3. Изучить влияние, оказанное на творчество Льва Толстого различными медицинскими концепциями;
4. Проследить эволюцию медицинского дискурса в творчестве писателя от ранних произведений («Набег», «Севастопольские рассказы» и др.) до романа «Война и мир».

Материалом диссертационной работы являются художественные произведения Толстого 1850–1860-х гг. («Набег», «Рубка леса», «Севастопольские рассказы», «Три смерти», «Казачьи», «Война и мир»), а также его дневниковые записи этого периода. Поздние публицистические, религиозно-философские произведения («Так что же нам делать?», «О жизни») используются нами для создания необходимого фона исследования. Отбор материала обусловлен поставленной целью: нами рассматриваются наиболее репрезентативные с точки зрения заявленной цели произведения.

Объект исследования – раннее творчество Толстого в контексте медицинских концепций эпохи.

Предмет исследования – логика воплощения и эволюции медицинского дискурса в художественных произведениях Толстого 1850–1860-х гг., а также специфика представлений писателя о медицине, болезни и лечении.

Базовыми для работы стали культурно-исторический, сравнительно-исторический, структурный, нарративный **методы исследования** с привлечением элементов биографического метода.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые системно анализируется медицинский дискурс в раннем творчестве писателя, а также рассматривается генезис толстовских представлений о медицине.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что системное изучение медицинского дискурса в творчестве Толстого 1850–1860-х гг. позволяет скорректировать уже сложившиеся представления об отношении писателя к медицинской науке, а также дополнить некоторые особенности его художественной картины мира и антропологии.

Практическая значимость связана с тем, что результаты исследования могут быть использованы в преподавании базового учебного курса истории русской литературы в высших учебных заведениях, а также в специальных курсах, посвященных творчеству Толстого, в бакалавриате и магистратуре.

Положения, выносимые на защиту:

1. Изучение медицинского дискурса в творчестве Толстого необходимо начинать с его ранних дневников, в которых раскрывается толстовское восприятие болезни и лечения. Писатель видит причины телесных недугов в душевном хаосе («разврате души») и хаосе разума, избавиться от которых помогает самовоспитание. Представления писателя о болезни, ее этиологии и лечении формируются вне непосредственной связи с медицинскими концепциями и имеют свою логику развития.

2. Толстовское самовоспитание одновременно является и самолечением, распространяющимся не только на душу, но и на тело, которое не воспринимается как нечто внешнее. В целях саморазвития и избавления от пороков возникает необходимость в подчинении телесной деятельности слову, что реализуется в многочисленных правилах и требованиях, применимых к ней в рамках занятий гимнастикой.

3. Упорядочивание как лечение, реализующееся на страницах дневника «молодого» Толстого, подвергается переосмыслению в рассказе «Набег». Порядок в этом произведении находится вне ведения рассудка, а потому медицинское вмешательство представлено в нем как избыточное действие.

4. Для понимания логики лечения в «Казаках» важно учитывать увлечение писателя магнетизмом, в котором он находил много общего с практикой врачевания, применяемой лекарями на Кавказе. Однако поиски рационального объяснения механизмов борьбы с болезнью к 1860-м гг. для писателя становятся неактуальны: он стремится сохранить тайну вокруг границы между жизнью и смертью в практически номинативном изложении методов лечения, недоступных героям, не принадлежащим миру природы.

5. В 1860-е гг. закладывается основа для нового подхода к осмыслению болезни и лечения, реализовавшаяся в художественных произведениях, религиозно-философских и публицистических работах Толстого 1870–1880-х гг. Постепенно толстовский идеал гармонии здорового (упорядоченного) тела и разума лишается первого компонента: тело воспринимается теперь как «лопата», которую нужно «точить и тратить» в труде, а не «хранить».

6. Медицинская деятельность, которой занимаются доктора, фельдшеры и медицинские сестры в «Севастопольских рассказах», никак не связана с лечением. Пространство перевязочного пункта в этих произведениях продолжает пространство бастионов и даже выражает его суть в концентрированной форме.

7. Батальный фон в «Севастопольских рассказах» необходим для раскрытия «болезни века» – не «травматической эпидемии» Пирогова, а «эпидемии тщеславия», суть которой заключается в подмене внешней медиации внутренней. Избавиться от этого недуга можно лишь внутри себя, переходя от гнетущих мыслей к спасительной деятельности.

8. Социальный аспект толстовского восприятия медицины, косвенно затронутый еще в «Трех смертях», впервые полноценно раскрывается в «Войне и мире». Болезнь в романе – реальность, к которой непосредственное отношение имеет лишь сам больной, однако медицина при этом перестает быть просто бесполезным знанием: писатель находит в ней опасность вытеснения нравственного потенциала, заложенного в страдании.

9. В «Войне и мире» военная медицина отчетливо противопоставлена «светской». Работа военного доктора (как и в «Севастопольских рассказах»)

закключается не в восстановлении увечного тела: медицинское вмешательство лишь констатирует и «подчеркивает» увечья, акцентируя внимание на очередной «эпидемии тщеславия». «Светская» медицина в романе, наоборот, представляет собой «спектакль», помогающий скрыть тщеславное желание.

10. «Война и мир» открывает новый этап в толстовском осмыслении медицины, болезни и методов лечения. Толстой делает уверенный шаг к открытой полемике с представителями медицинской профессии, развернувшейся в последней четверти XIX в. При этом выявленная нами логика его ранних произведений в этом романе во многом продолжает прослеживаться.

Апробация результатов исследования. Основные идеи работы излагались в докладах на Международных и Межвузовских научных конференциях: «Толстовские чтения» (Москва, 2021), «Русские писатели и медицина» (Санкт-Петербург, 2021, 2022), «Универсалии русской литературы» (Воронеж, 2022), «Литературные юбилеи 2023 года, информационная среда и проблемы компьютерной поэтики» (Воронеж, 2023), «Русские классики второй половины XIX века: биографические и литературные “пересечения”, интертекстуальные связи и критическая рецепция» (Санкт-Петербург, 2024), «Трансценденция бытия: идеалы познания истины» (Воронеж, 2024), а также на научных сессиях Воронежского государственного университета (Воронеж, 2022, 2023, 2024). Содержание работы отражено в четырех статьях, из которых три опубликованы в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ.

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключение и библиографического списка, насчитывающего 172 источника. В первом параграфе первой главы мы исследуем генезис представлений Толстого о болезни и лечении в дневнике 1847 г., выделяя концепцию самовоспитания как самолечения. Во втором параграфе рассматривается эволюция этой концепции в рассказе «Набег» и дневниковых записях начала 1850-х гг. В третьем параграфе мы анализируем влияние концепции животного магнетизма, оказанное на раннее творчество Толстого. В частности, в контексте месмеризма нами рассматриваются методы лечения в повести «Казачи». В четвертом параграфе мы изучаем

восприятие гимнастического дискурса русскими писателями в 1840–1850-х гг. При этом в нашем фокусе находится концепция гимнастики в осмыслении Толстого и Чернышевского, а также эволюция толстовских представлений о теле.

В первом параграфе второй главы мы прослеживаем биографические пересечения Толстого и Н. И. Пирогова, а также рассматриваем литературоведческие работы, в которых соотносится толстовская поэтика с нововведениями известного хирурга в области медицины. Второй параграф посвящен анализу специфики репрезентации военной медицины в «Севастопольских рассказах». В третьем параграфе мы сопоставляем пироговскую концепцию войны как «травматической эпидемии» с толстовской «эпидемией тщеславия».

В первом параграфе третьей главы анализируется социальный аспект медицины в «Войне и мире». Особое внимание при этом уделяется рассмотрению роли врача в избавлении от болезни и того вреда, который несет человеку медицинское знание. Во втором параграфе третьей главы исследуется противопоставление военной и «светской» медицины в романе. Кроме того, прослеживается четкая связь между концепциями военной медицины в «Севастопольских рассказах» и «Войне и мире».

Глава 1. Медицинский дискурс в творчестве «молодого» Толстого

1.1. Самовоспитание как самолечение в дневнике 1847 года

Медицинский дискурс в творчестве Толстого следует изучать, начиная с его дневников. Удивляет, с каким постоянством писатель всякий раз отмечает состояние своего здоровья, причем им фиксируется не только наличие, но и отсутствие проявлений болезни. Регулярность этих записей сопутствует регулярности ведения дневника: с 1851 г. их можно найти практически на каждой странице. Вот лишь несколько примеров за 5, 6, 7 и 9 июня 1852 г.: «Погода гадкая, здоровье хорошо» (Толстой. Т. 46, с.122); «Пить воду, быть беззаботенъ, здоровъ, весель и не тщеславенъ...» (Толстой. Т. 46; с. 123); «Всталъ въ 1/2 6, принялъ ванну, пить воду, быть спокоенъ и здоровъ...» (Толстой. Т. 46; с. 123); «Обыкн[овенный] обр[азъ] жизни, только спать послѣ обѣда и теперь больнешенекъ – зубы и жаръ» (Толстой. Т. 46; с. 123).

В. В. Бибихин в курсе лекций «Дневники Льва Толстого» (2012), наблюдая такую особенность толстовского письма, справедливо отмечает: «Уверенность, что тело – это важно. Идет постоянный о нем отчет. Не меньшей важности, чем писание и литературные успехи» [Бибихин, 2023, с. 88]. По мысли философа, здоровье тела в понимании Толстого важно не само по себе: «Догадка, что оно как-то прямо связано с самым главным, есть» [Там же]. Эта связь с главным – связь с самой жизнью, с Богом, не допускающая постороннего вмешательства, например, в виде руки врача. Потому представления о болезни и лечении в текстах писателя не основываются на достижениях медицины того времени, идут в разрез с ней.

Те страницы дневника, о которых пойдет речь дальше, Б. М. Эйхенбаум в работе «Молодой Толстой» (1922) относит к «методологическому» периоду (с 1847 по 1851 г.), связанному с самонаблюдением, с попыткой упорядочить, организовать душевную жизнь в дневниковых записях. Согласимся с ученым: «Можно сказать, что эти годы – не столько работа над мирозерцанием, сколько над методологией самонаблюдения, как подготовительной ступени к

художественному творчеству» [Эйхенбаум, 1922, с. 29]. К такому заключению приводят две особенности дневников писателя того периода.

Во-первых, Толстой несколько беспорядочно регламентирует жизнь, сосредотачиваясь не только на занятиях, служащих саморазвитию, но и, например, на игре в карты. Сама форма многочисленных правил, приложимых ко всему, более напоминает упражнение в организации мыслей. Во-вторых, большая часть этих правил вовсе не исполняется, в некотором смысле конфликтуя со сложной душевной жизнью, однако неисполнение их не останавливает работы над формулированием – наоборот, к 1850-му г. правила и наблюдение за их исполнением составляют большую часть дневника.

В то же время использование этой «методологии» способствует появлению и развитию в дневниковых записях «неведомой инстанции», которую Бибихин назвал «смотрителем», подчеркнув его стороннее положение по отношению к тому, чья жизнь подвергается наблюдению: «Он пишет не для того, чтобы сам измениться, совершенствоваться. Точнее сказать, к тому, который хочет изменить себя, мечтает исправить жизнь, дневник стоит наблюдателем» [Бибихин, 2023, с. 56]. Примечательно, что несовпадение с желаемым образом самого себя, выражающееся в несоблюдении правил и требований, во взгляде «смотрителя» зачастую воспринимается как патология. Некоторые пороки в этих текстах (например, тщеславие) и вовсе именуются «моральной болезнью».

Один из первых опытов письма Толстого является, по сути, патографическим. Дневник открывается следующими словами: «Вот уже шесть дней, какъ я поступилъ въ клинику, и вотъ шесть дней, какъ я почти доволенъ собою» (Толстой. Т. 46; с. 3). С одной стороны, это высказывание соответствует биографическому факту: писатель в марте 1847 г. поступил в клинику Казанского университета, где проходил лечение от гонореи. Но с другой – в самих записях «поступление в клинику» связывается с толстовской «методологией самонаблюдения»: обоснование необходимости ведения дневника исходит из признания себя больным.

Отметим, что в дневнике за 1847 г. отсутствуют какие-либо внешние события. Исключение составляют лишь уже упомянутое «поступление» и «переход» домой: «Причиною тому было, во-первыхъ, мой переходъ изъ клиники домой; а во-вторыхъ, общество, съ которымъ я сталъ имѣть больше сношеній» (Толстой. Т. 46; с. 33), – в которых словно закольцовывается первый опыт толстовского письма. О том, что происходило внутри клиники, нисколько не упоминается: не оговариваются симптомы, не характеризуется поведение врачей, не поддается оценке взаимодействие руки врача с телом пациента. Болезнь провоцирует обращение повествователя к самому себе.

Первую запись в дневнике (17 марта 1847 г.) стоит разобрать подробнее. Поступление в клинику и взгляд на себя со стороны связаны друг с другом так, будто сама возможность появления этого взгляда сопутствует перемещению. При этом гонорей воспринимается как нечто крайне незначительное: «Я получилъ *Гаонарею*, понимается, отъ того, отъ чего она обыкновенно получается; и это пустое обстоятельство дало мнѣ толчокъ, отъ котораго я сталъ на ту ступень, на которой я уже давно поставилъ ногу; но никакъ не могъ перевалить туловище (отъ того, должно быть, что не обдумавши поставилъ лѣвую ногу вмѣсто правой)» (Толстой. Т. 46; с. 3). «Пустое обстоятельство» – в этом свете характеристика как минимум странная. В некотором смысле именно тело, особенности его жизнедеятельности организуют встречу «пишущего дневник», и того, чья жизнь подлежит фиксации на письме. Роль тела принижается, в то время как роль рассудка фактически абсолютизируется. Заметим, что в самых ранних записях нет пристального внимания к телу, о котором мы упомянули в начале.

Главной характеристикой клиники является отсутствие какого-либо внешнего влияния: «Здѣсь я совершенно одинъ, мнѣ никто не мѣшаетъ, здѣсь у меня нѣтъ услуги, мнѣ никто не помогаетъ – слѣдовательно на разсудокъ и память ничто постороннее не имѣетъ вліянія, и дѣятельность моя необходимо должна развиваться» (Толстой. Т. 46; с. 3). Не только помеха со стороны негативно сказывается на саморазвитии, но и услуга, помощь. Отсутствие любого

«постороннего» влияния, напротив, приводит к спасительному анализирующему письму.

Безусловно, за этими рассуждениями кроется понимание человека как субъекта, наделенного врожденными «чувствами»: «Кто виновать тому, что мы лишаемся врожденныхъ въ насъ чувствъ: смѣлости, твердости, разсудительности, справедливости...» (Толстой. Т. 46; с. 33). Человек находит область своего не в столкновении с другими, а при их отсутствии. Отступление от этой области ведёт к болезненным процессам.

В этих записях усматривается влияние концепции «естественного человека» Ж.-Ж. Руссо. Таким образом, «ступень», о которой упоминается в самом начале дневника, следует понимать как встречу с самим собой, встречу, благодаря которой обнаруживается истинная патология: «Главная же польза состоятъ въ томъ, что я ясно усмотрѣлъ, что *безпорядочная жизнь*, которую большая часть свѣтскихъ людей принимаютъ за слѣдствіе молодости, есть ничто иное, какъ *слѣдствіе ранняго разврата души*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 46; с. 3).

Впрочем, трудно представить, чтобы в клинике с создателем дневника никак не контактировали медицинские работники и другие пациенты. Такое восприятие свидетельствует о том, что чье-либо фактическое присутствие для больного является незначительным. Врачи наблюдают тело, не подозревая о «разврате души», истинном недуге их пациента. «Постороннее влияние» развращенной среды заразительно, оно заставляет удалиться от себя, тогда как манипуляции над телом проходят для больного бесследно.

И всё же в тексте присутствует кто-то еще. Вновь обратим внимание на первое предложение дневника, Толстой пишет: «... я почти доволенъ собою» (Толстой. Т. 46; с. 3). Некоторые признаки появления фигуры «смотрителя» раскрываются уже здесь. «Я» в этом предложении словно раздваивается. Есть действия, мысли, чувства, связанные с конкретными моментами жизни, но есть и строгий взгляд, дающий этим действиям, мыслям, чувствам однозначную моральную оценку, выявляющий патологию. Создатель дневника находится под пристальным наблюдением.

Эйхенбаум отмечает «педагогический тон» дневников: «Вопрос о пользе уединения, самый характер афоризмов и поучений – всё вызывает в памяти образы XVIII века, эпохи доверия к разуму и потому педагогической больше всего» [Эйхенбаум, 1922, с. 14]. И действительно: стоит взглянуть, прежде всего, на то, как определяется цель ведения дневника: «Я никогда не имѣлъ дневника, потому что не видалъ никакой пользы отъ него. – Теперь же, когда я занимаюсь развитіемъ своихъ способностей, по дневнику я буду въ состояніи судить о ходѣ этого развитія» (Толстой. Т. 46; с. 29). Для сравнения можно привести цитату из книги по педагогике середины XIX в.: «Воспѣтаніе въ тѣсномъ смыслѣ есть обдуманное развитіе и образованіе всѣхъ, человѣку дарованныхъ силъ, направленное такъ, чтобъ онъ могъ достигнуть наилучшимъ образомъ своего назначенія» [Ободовский, 1853, с. 3]. Стоит заметить, несмотря на то что идея «развития способностей» / «сил» является общей, в тексте Толстого она выходит за рамки одной личности и даже целого общества. Речь уже идет о развитии «всего существующего»: «Какая бы ни была точка исхода моего разсужденія, что бы я ни принималъ за источникъ онаго, я прихожу всегда къ одному заключенію: цѣль жизни человѣка есть всевозможное способствованіе къ всестороннему развитію всего существующаго» (Толстой. Т. 46; с. 30).

Определение «цели жизни» – важное место дневника. Однако не менее важным оказывается методичное формулирование и попытка применения различных правил, способствующих организации душевной жизни, приданию ей порядка. Весьма примечательным представляется первое правило: «Я читалъ наказъ Екатерины и такъ какъ далъ себѣ вообще правило, читая всякое сурьезное сочиненіе, обдумывать его и выписывать изъ него замѣчательныя мысли, я пишу здѣсь мое мнѣніе о первыхъ шести главахъ этаго замѣчательнаго произведенія» (Толстой. Т. 46; с. 4).

Вдумчивое чтение, с одной стороны, позволяет глубже проникать в текст, с другой – делает его ближе: «замечательные мысли», судя по всему, должны способствовать саморазвитию. Неожиданная параллель: пристальное наблюдение за чужими текстами проходит рядом со столь же пристальным наблюдением за

своей жизнью посредством дневника. Дневниковые записи фиксируют явления жизни, способствуют их упорядочиванию, а также создают возможность для обратного влияния. Дневник перечитывается, нужно полагать, столь же внимательно: как из всякого «серьезного сочинения» можно извлечь пользу, так ее можно извлечь и из зафиксированной в слове жизни.

Жизнь многогранна, потому к ней приложимы различные типы правил: внутренние (применимые к области телесного, чувственного, умственного) и внешние, многие из них невероятно детализованные, например «Правила для развития способности приводить выводы в порядок», «Правила для развития чувств высоких и уничтожения чувств низких, или иначе: правила для развития чувства любви и уничтожения чувства самолюбия», «Правила для развития деятельности телесной» и т. д. Безусловно, это «извлечение пользы» исходит из той же идеи всестороннего развития, по сути, генеральной для дневника этого года. Однако особенно интересным здесь оказывается близость самообразования, самовоспитания и самолечения.

Правила помогают преодолеть «разврат души». Страсти, пороки, особенно с 1850 г., будут всё чаще появляться на страницах дневника. В дневнике за 1852 г. находим, например, следующее: «Сколько я могъ изучить себя, мнѣ кажется, что во мнѣ преобладают 3 дурныя страсти: игра, сладострастіе и тщеславіе» (Толстой. Т. 46; с. 93). И последняя, что примечательно, охарактеризована как болезнь: «Это какая то моральная болѣзнь вродѣ проказы, — она не разрушаетъ одной части, но уродуетъ все, — она понемногу и незамѣтно закрадывается и потомъ развивается во весь организмъ; нѣтъ ни одного проявленія, которое бы она не заразила, — она какъ венерическая; ежели изгоняется изъ одной части, съ большей силой проявляется въ другой» (Толстой. Т. 46; с. 94–95).

Интересную запись о преодолении «моральной болезни» порядком находим, например, в дневнике за 1853 г.: «Подъ предлогомъ болѣзни я *отступаю отъ порядка и безпорядочность усиливаетъ ежели не физическую, то моральную болезнь (мнительность)*, тогда какъ, напротивъ, надо стараться порядкомъ обуздывать ее» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 46; с. 210). Если

вернуться к тетради 1847 г., то можно сказать, что болезнь протекает в другой (не телесной) плоскости. Гонорея, о которой говорится в начале дневника, повествователю совершенно неинтересна, всё внимание его направлено на иной недуг – «разврат души». К избавлению от него ведут методы скорее педагогические, нежели медицинские: лечению в толстовском тексте способствует дисциплина, возвращающая жизни порядок.

Можно провести аналогию толстовского самонаблюдения с некоторыми особенностями клиницистской мысли. Прежде всего, это касается изоляции. Концом типологической медицины, как отмечает Мишель Фуко, становится отрицание идеи, согласно которой болезнь должна размещаться и развиваться свободно (т. е. вне особого пространства для нее предназначенного), не изменяя свою природу. Клиника начинает формироваться с мысли об изоляции и контроле: «Поэтому же было необходимо осуществлять контроль над этими врачами, ограничивать злоупотребления, объявлять вне закона шарлатанов, избегая, с помощью здоровой и разумной организации медицины того, чтобы домашний уход не превращал больного в жертву и не подвергал бы его окружение опасности заражения» [Фуко, 1998, с. 47–48].

Контроль и уединение в толстовском тексте также являются основой излечения от пороков, которые часто отличаются своей заразительностью. Подобно тому, как клиницисты создавали новый язык для передачи нового взгляда на болезни и тело, Толстой создает свой метод и свой язык для изучения душевной жизни. Последняя в рамках толстовского письма предстает в виде смены состояний (часто противоречивых), а сознание, как верно указывает Эйхенбаум, «разлагает ее на моменты и оформляет самую последовательность» [Эйхенбаум, 1922, с. 48].

В то же время, преодолевая «разврат души», необходимо подчинять порядку тело. Парадокс в том, что повествователь называет непосредственно телесные обстоятельства «пустыми», но работа над телом ведется постоянно. В самом дневнике за 1847 г. об этом есть всего одно упоминание: «Я начинаю приобретать волю телѣсную; но умственная еще очень слаба» (Толстой. Т. 46; с.

29–30). Однако это «обретение» телесной воли регламентируется в правилах, которые Толстой составляет примерно в то же время. Тело, согласно им, вообще находится в области внутренней деятельности («в отношении к самому себе»). Да и логика здесь та же – приведение в порядок: «Правило общее. – Всѣ дѣянія должны быть опредѣленіями воли, а не безсознательнымъ исполненіемъ тѣлесныхъ потребностей» (Толстой. Т. 46; с. 266). Потому некоторые из правил относительно тела звучат весьма странно: «4) Будь вѣренъ своему слову» (Толстой. Т. 46; с. 267). Однако странно лишь на первый взгляд, ведь деятельность тела фиксируется в тексте для извлечения пользы путем разложения на мельчайшие элементы («6) Имѣй всегда таблицу, въ которой бы были опредѣлены всѣ самыя мелочныя обстоятельства твоей жизни, даже сколько трубокъ курить въ день» (Толстой. Т. 46; с. 267)) и последующего упорядочивания в упражнениях. Это стремление вскоре разовьется в увлечение гимнастикой, которая, к слову, в середине XIX в. понималась как деятельность на границе медицины и педагогики.

Как нам представляется, толстовская самобытная мысль о болезни, ее природе и лечении минует медицинские представления. В дневниковых записях писателя наблюдается стремление минимизировать роль тела. Внимание сосредотачивается на душевных недугах. В то время как тело проходит лечение в клинике Казанского университета, душе уделяется пристальное внимание на страницах дневника. Упорядочивание, структурирование жизни в форме дневниковых записей способствуют параллельно идущим процессам саморазвития и самолечения. Повествователя интересует не физическая болезнь, но моральная, именуемая «развратом души». В то же время стоит отметить, что тело полностью не исключается из текста. Наоборот, в рамках оппозиции внешнего и внутреннего, оно постепенно включается в область самого себя. В целях саморазвития и избавления от пороков возникает необходимость в подчинении тела слову.

1.2. Образ доктора в «Набеге»

Однако концепция, описанная выше, в рамках которой совмещается самолечение и самовоспитание («приведение в порядок» своего душевного и физического состояния), через несколько лет будет критически переосмыслена в «Набеге» (1853). Весной 1851 г. Толстой отправляется на Кавказ. 12 июня он оставляет в дневнике следующую запись: «Меня поразили 3 вещи: 1) разговоры офицеровъ о храбрости. Какъ заговаривать о комъ нибудь. Храбръ онъ? Да, такъ. Всѣ храбры. Такого рода понятія о храбрости можно объяснить вотъ какъ: — Храбрость есть такое состояніе души, при которомъ силы душевныя дѣйствуютъ одинаково, «при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ. Или напряженіе дѣятельности, лишаящее сознанія опасностей. Или есть два рода храбрости: моральная и физическая. Моральная храбрость, которая происходитъ отъ сознанія долга, и вообще отъ моральныхъ влеченій, а не отъ сознанія опасности. Физическая та, которая происходитъ отъ физической необходимости, не лишая сознанія опасности, и та, которая лишаетъ этаго сознанія» (Толстой. Т. 46; с. 64). Здесь, как и в более ранних дневниковых записях, писатель пытается раскрыть, уяснить для себя и упорядочить заинтересовавшие его высказывания и явления путем прямого объяснения и расчленения на составляющие. Кроме того, примечательным является выделение «морального» и «физического» родов храбрости – Толстой использует тот же понятийный аппарат, те же структуры, что и в своих многочисленных сводах правил («Правила внутреннія или въ отношеніи къ самому себѣ раздѣляются на правила образованія нравственнаго и правила образованія тѣлеснаго» (Толстой. Т. 46; с. 264), «Источникъ всѣхъ чувствъ есть любовь вообще, которая раздѣляется на два рода любви...» (Толстой. Т. 46; с. 267)). Следовательно, логика первых опытов письма прослеживается и в этом фрагменте.

Впрочем, в это время уже наблюдаются существенные изменения в ведении дневника. Выработка «методологии самонаблюдения» уступает место занятиям литературой: Толстой делает наброски портретов и пейзажные зарисовки,

размышляет над вопросами, связанными с формой литературного произведения, упражняется в «мелочности» и «генерализации». Уже в приведенной выше цитате можно усмотреть противоречие между позицией писателя, ухватившего материал для своей работы, и педагога, занимающегося разъяснением этого материала. Неслучайно попытка определить сущность «храбрости» не будет оставлена автором, а перерастет в художественное осмысление, итогом которого станет «Набег».

Медицинский дискурс в «Набеге» заметно меняется. Рассказ, нужно отметить, не изобилует описаниями смерти, болезни, лечения, потому подробнее разберём кульминационную сцену, в которой раненый Аланин встречается с доктором.

Роль врача в ней, как кажется, минимальная: «Приехавший доктор принял от фельдшера бинты, зонд и другую принадлежность и, засучив рукава, с ободрительной улыбкой подошел к раненому.

– Что, видно, и вам сделали дырочку на целом месте, – сказал он шутливо-небрежным тоном, – покажите-ка» (Толстой. Т. 3; с. 39). Его манипуляции, которые, по идее, должны быть связаны со спасением жизни, обрываются следующей фразой раненого: «Оставьте меня, – сказал он чуть слышным голосом, – всё равно я умру» (Толстой. Т. 3; с. 39). После нее фигура доктора, его слова и действия становятся просто избыточными, отрицаются в самом повествовании (но не извлекаются из него), так как знанием о жизни и смерти наделен сам Аланин. Напомним, что в дневнике истинная патология также доступна лишь самому пациенту. У врача и у больного разные взгляды на болезнь. Когда один ищет её проявления на теле, другой чувствует их внутри себя. Новым же становится появление медицинской оптики.

В то же время медицинскую деятельность, представленную в данном отрывке, нельзя охарактеризовать негативно. Согласимся в этом с мнением В. Порудоминского: «Портрет военного доктора выписан не слишком доброжелательно. По мысли автора, он не находит правильного тона ни в разговоре с больным, ни в своих действиях подле него. Между тем, его действия,

может быть, не заслуживают серьезных упреков. Еще не осмотрев раны, он пытается успокоить пациента. Затем знакомится с характером ранения. Когда же видит, что дело безнадежно, отступает, не приносит раненому дополнительных страданий» [Порудоминский, 2012, с. 133]. Доктор не вредит, но и не может помочь. Пожалуй, именно, он, а не раненый, кажется в сцене беспомощным.

В первых вариантах этой сцены образ доктора близок литературной традиции XVIII в. и напоминает врача-шарлатана³. Причем в этом образе доминируют две черты. Первая – опьянение: «Докторъ былъ пьянъ и началъ что-то шутить; рука его такъ тряслась, что онъ попадалъ вмѣсто раны зондомъ въ носъ» (Толстой. Т. 3; с. 225); «Пріѣхавшій докторъ, сколько я могъ замѣтить по нетвердости въ ногахъ и потнымъ глазамъ, находился не въ приличномъ положеніи для дѣланія перевязки» (Толстой. Т. 3; с. 237). Вторая – вредительство: «Докторъ такъ неловко щупалъ рану и безъ всякой надобности давилъ ее трясущимися пальцами, что выведенный изъ терпѣнія раненый съ тяжелымъ стономъ отодвинулъ его руку» (Толстой. Т. 3; с. 237). Обе будут отвергнуты автором.

Главной чертой доктора станет излишняя веселость: «... с ободрительной улыбкой подошел к раненому» (Толстой. Т. 3; с. 39); «... сказал он шутливо-небрежным тоном – покажите-ка» (Толстой. Т. 3; с. 39); «... в выражении, с которым он взглянул на веселого доктора, были удивление и упрек, которых не заметил этот последний» (Толстой. Т. 3; с. 39). Действия же его станут безвредными и бессмысленными: «Он принялся зондировать рану и осматривать ее со всех сторон; но выведенный из терпения раненый с тяжелым стоном отодвинул его руку...» (Толстой. Т. 3; с. 39). Тяжелый стон раненого в последнем варианте текста обусловлен не характером действий доктора («неловко щупалъ рану», «безъ всякой надобности давилъ ее трясущимися пальцами»), но скорее самим фактом прикосновения к телу.

³Об образе врача в литературе XVIII века см. в работе Елены Александровны Иваньшиной «На пересечении границ: врач в русской литературе» [Иваньшина, 2013, с. 46–155].

Впрочем, кроме тени литературной традиции, есть у этой сцены и вполне конкретный биографический источник. В письме к брату Сергею от 24 июня 1852 г. (работа над рассказом к этому времени уже шла) Толстой рассказывает об одном случае, свидетелем которого он стал и «под впечатлением» от которого некоторое время находился. Ночью писатель проснулся от «страшного шума». Во двор привезли хозяина дома, раненного⁴ в левую грудь и правую руку неким «Татарином». Сцена, как отмечает автор, – «трогательная и смешная»: «Посреди двора весь въ крови сидить человекъ, а кругомъ него столпилась огромная пьяная компанія» (Толстой. Т. 59; с. 184). Разрешается она следующим образом: «Наконецъ ужъ я послалъ за Докторомъ и самъ перевязалъ рану. Тутъ прибѣжалъ мертвецки пьяный фершелъ, сорвалъ мою повязку и еще разъразбередилъ рану, наконецъ приѣхалъ Докторъ и еще разъ перевязалъ» (Толстой. Т. 59; с. 184–185). Здесь присутствует и опьянение, которым отмечена вся атмосфера, а не только один персонаж; и вредительство, которым последовательно занимаются «мертвецки пьяный фершелъ» и «Докторъ, который всё шутить». Кроме того, знание о смерти также закреплено за самим «раненым». Он не наблюдает его по симптомам, как это делает сам Толстой («Онъ очень плохъ, харкаетъ кровью, это вѣрный признакъ смерти, но говорить и только морщится» (Толстой. Т. 59; с. 185)), но уверен в нем: «Я сейчасъ заходилъ къ нему и никакъ не могъ разувѣрить его, что онъ умретъ» (Толстой. Т. 59; с. 185).

Автор значительно меняет образ доктора: врач не приносит вред пациенту, но и не может его вылечить. Можно подумать, что это лишь следствие его стремления избавиться от «сатиры» в повествовании: «Все сатирическое не нравится мнѣ, а такъ [какъ] все было въ сат[ирическомъ] духѣ, то все нужно передѣлывать» (Толстой. Т. 46; с. 151). Но само присутствие доктора в сцене этим не объясняется. Думается, этот герой необходим как носитель иного знания о болезни и лечении. В дневниках, напомним, о докторах не говорится ни слова, нет

⁴ В «Набеге» и в письме, что крайне примечательно и что косвенно указывает на текстовую близость, Аланин и «мой хозяин» замещаются словом «раненый».

свидетельств постороннего взгляда. Появление доктора в рассказе симптоматично.

Итак, доктор в «Набеге» – персонаж, в некотором смысле, бесполезный, лишний: его знание абсолютно проигрывает в сложившейся ситуации знанию пациента, манипуляции доктора над его телом неуместны. Несмотря на это патология, фиксируемая доктором, естественно, никуда не исчезает: «– Что, видно, и вам *сделали дырочку на целом месте ...*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 3; с. 39). Ее же, к слову, чуть раньше отмечает и повествователь: «*На белой рубашке под расстегнутым сюртуком виднелось небольшое кровавое пятнышко*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 3; с. 38). Примечательно, что и в «Рубке леса» (1855), где также появляется «раненый», наблюдаем похожее описание: «*Рана его была в животе, но в ней почти не было крови*; лоб же он разбил о пень во время падения» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 3; с. 58).

К слову, в вышеупомянутом рассказе обнаруживается еще одна заслуживающая внимания особенность. Юнкер поначалу видит иную картину ранения: «Всё это я разобрал гораздо после; в первую минуту я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как мне казалось, крови» (Толстой. Т. 3; с. 58). Изначально всё тело воспринимается как «неясная масса», оно деформируется до такой степени, что в нем ничего не получается разобрать. Кроме того, особо подчеркивается обилие крови, вытекающей из раненого. Замечают это и другие: «Никто из солдат, заряжавших орудие, не сказал слова, только рекрутик пробормотал что-то вроде: “Вишь ты как, в кровь”...» (Толстой. Т. 3; с. 58). Однако на самом деле покрывается кровью не все тело, а лишь отдельный его участок: «Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя» (Толстой. Т. 3; с. 58). А самое интересное, что кровотечение вовсе не является смертельным признаком, хотя люди, находящиеся вокруг раненого, воспринимают это именно так. Рана, несущая смерть, имеет минимальное физическое проявление.

Натуралистические подробности, которые порождают в душе наблюдателей «зрелища» мысль о смерти, не имеют ничего общего с реальной угрозой для

раненого. Герои рассказа сталкиваются с иллюзией моментального уничтожения человека, превращения его в «неясную массу». Настоящее же проявление смерти удастся увидеть юнкеру лишь при близком контакте с телом солдата, получившего ранение: «Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой, белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязывали черес» (Толстой. Т. 3; с. 59).

«Тяжелое чувство» герой испытывает при виде целого и здорового тела, на котором еще не проявились следы гибели. Не кровопотеря и увечья находятся в фокусе толстовского описания, но именно разрыв, нарушение целостности, за которым необратимо следует смерть: «Здоровое, широкое лицо его в несколько секунд совершенно изменилось: он как будто похудел и постарел несколькими годами, губы его были тонки, бледны и сжаты с видимым напряжением; торопливое и тупое выражение его взгляда заменил какой-то ясный, спокойный блеск, и на окровавленных лбу и носу уже лежали черты смерти» (Толстой. Т. 3; с. 59). Легко предположить, что и в этом случае появление фигуры доктора было бы неуместным.

Категория «целого» («единого»/«всеобщего»/«всеобъемлющего») в текстах писателя является одной из центральных. Не случайно В. В. Вересаев первую главу своих размышлений о творчестве Толстого в книге «Живая жизнь» (1910) называет «Единство». Он выделяет «ощущение непрерывного, целостного единства» как ключевое для толстовского художественного мира [Вересаев, 1991, с. 59–65]. Появляется категория «целого» уже в первой дневниковой записи Толстого: «Для этаго образуй твой разумъ такъ, что бы онъ былъ сообразенъ съ цѣлымъ, съ источникомъ всего, а не съ частью, съ обществомъ людей; тогда твой разумъ сольется въ одно съ этимъ цѣлымъ, и тогда общество, какъ часть, не будетъ имѣть вліянія на тебя» (Толстой. Т. 46; с. 4). «Целое» есть «источник всего», обладающий важнейшей характеристикой – истинностью. Приобщение к «целому», по логике писателя, открывает истинный взгляд на вещи, позволяет обрести порядок, а с ним – счастье. Позже эта категория в толстовских текстах реализуется и на других уровнях.

Толстой однажды замечает, как часть неожиданно становится целым: «Иногда бывает, что нечаянно смотришь на одну только траву, и трава дѣлается не частностью, а цѣлымъ міромъ съ своими разнообразными членами» (Толстой. Т. 47; с. 182). Видит он целостность и в отдельном человеке: «У моихъ пріятелей литераторовъ, старыхъ холостяковъ, у всѣхъ одна общая грустная черта: встрѣчаясь съ человѣкомъ, они считаютъ необходимымъ впередъ опредѣлить себѣ его характеръ и потомъ это мнѣніе берегутъ, какъ красивое произведеніе ума. Съ такимъ искусственнымъ мелкимъ знаніемъ нельзя любить и поэтому знать человѣка. В[алерія] цѣльная натура, поэтому надо особенно осторожно обращаться съ ней, и ежели наши отношенія будутъ существовать, то мнѣ надо поддѣлываться подъ ея цѣльность, а не ее портить сомнѣніемъ» (Толстой. Т. 47; с. 199). Ищет ее в занятиях литературой: «Зачѣмъ такъ тѣсно связана поэзія съ прозой, счастье съ несчастьемъ? Какъ надо жить? Стараться ли соединить вдругъ поэзію съ прозой, или насладиться одною и потомъ пуститься жить на произволь другой? – Въ Мечтѣ есть сторона, которая лучше дѣйствительности; въ дѣйствительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье было бы соединеніе того и другаго» (Толстой. Т. 46; с. 65).

Таким образом, доктор в «Набеге» определяет патологию не по-медицински, а по-толстовски. Однако действует неправильно: он пытается внешне и механически восстановить утраченную целостность своего пациента. На верный для последнего путь к восстановлению скорее указывает капитан Хлопов: «— Скажите лучше: так Богу угодно, – повторил капитан» (Толстой. Т. 3; с. 39), – так как движение к целому – это движение внутреннее, прежде всего.

Чуть раньше повествователь замечает еще одну патологию, связанную не с нарушением тела, но с нарушением психики, выраженную крайне примечательным сравнением: «Невольно приходило сравнение человека, который сплеча топором рубил бы воздух» (Толстой. Т. 3; с. 33). Сравнение это относится ко всем участникам набега, за исключением волонтера, а само поле боя в таком случае весьма напоминает дом умалишенных. Корни своеобразной болезни обнаруживаются также в нарушении целостности. «Истинно величественное

зрелище», наполненное стоном земли, пальбой, огнем и дымом, с точки зрения повествователя, нарушается движением, одушевлением и криками людей. Именно вовлеченность участников «зрелища» пугает «волонтера».

Вот еще один пример: «В это время с быстрым неприятным шипением пролетает неприятельское ядро и ударяется во что-то; сзади слышен стон раненого. Этот стон так странно поражает меня, что воинственная картина мгновенно теряет для меня всю свою прелесть; но никто, кроме меня как будто не замечает этого: майор смеется, как кажется, с большим увлечением; другой офицер совершенно спокойно повторяет начатые слова речи; генерал смотрит в противоположную сторону и со спокойнейшей улыбкой говорит что-то по-французски» (Толстой. Т. 3; с. 33). Раненый, за которым стоит ежесекундная реальность уничтожения, также нарушает целое. Для повествователя воодушевление несовместимо с уничтожением.

В следующей главе войска занимают аул, на который совершался набег. Описание этого поселения скорее не конкретное, но эмблематическое: речка, на берегу которой стоят сакли, расположенные между садом и кладбищем: «Длинные чистые сакли с плоскими земляными крышами и красивыми трубами были расположены по неровным каменистым буграм, между которыми текла небольшая река. С одной стороны виднелись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными грушевыми и лычевыми деревьями; с другой – торчали какие-то странные тени, перпендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами. (Это были могилы джигитов.)» (Толстой. Т. 3; с. 33–34). В этой зарисовке отражается идея целостного и цикличного восприятия мира.

К. А. Нагина в монографии «Пространственные универсалии и характерологические коллизии в творчестве Л. Толстого» (2012), справедливо указывает: «Уже в последней части трилогии “Детство. Отрочество. Юность” Толстой открыл способность *сада* воздействовать на человека, внушая ему благие мысли о его принадлежности к миру в целом, о его тождественности с природой и

даже Богом» [Нагина, 2012, с. 255]. Несмотря на немногословность описания, мы считаем, что подобные мысли назревают уже в «Набеге».

Во время разграбления аула повествователь наблюдает примечательную в свете нашего рассуждения сцену. Добычей донских казаков становится козленок, которого они тут же хотят зарезать. Однако звуки, напоминающие плач ребенка, пугают «молодого прапорщика»: «Но в то же самое время с разгоревшимся, испуганным лицом вдруг выбежал из-за угла хорошенький прапорщик и, махая руками, бросился к казакам.

– Не трогайте, не бейте его! – кричал он детским голосом.

Увидев офицера, казаки расступились и выпустили из рук белого козленка. Молодой прапорщик совершенно растерялся, забормотал что-то и со сконфуженной физиономией остановился перед ним. <...>

– Я думал, что это они ребенка хотят убить, – сказал он, робко улыбаясь» (Толстой. Т. 3; с. 35). Этот поступок не только дает представление о возрасте и характере Аланина, но и позволяет подчеркнуть отклонение в сознании людей, порождаемое набегом. Бессмысленное и безнаказанное насилие над ребёнком допускается в пространстве, охваченном войной. Трепетное отношение к человеческой жизни пропадает под влиянием неоднократных убийств. Набег в рассказе предстает как помешательство.

Исходя из вышесказанного, отметим, что повествователь в рассказе выполняет ту же функцию, что и доктор. Более того, можно сказать, что первый оказывается более квалифицированным, так как выявляет патологии на разных уровнях. В его восприятии мы наблюдаем композицию двойного разрушения целого. Сначала разрушается целое «величественного зрелища» войны, а затем целое отдельного человека на войне.

Функция выявления патологии в «Набеге» прослеживается четко. Функция лечения, пожалуй, полностью не реализуется: здесь уместно говорить лишь о попытках ее реализации. Доктор, осматривающий Аланина, подходит к решению проблемы внешне: он знает лишь о видимом глазу нарушении тела, тогда как раненый точно определяет смертельные процессы внутри себя.

Повествователь же «лечит» словом. Причем он сам же является и пациентом, когда стремится сделать понятным для себя поведение человека на поле боя. Лечение происходит путем упорядочивания мыслей, разрешения мучительных вопросов. Это напоминает структуру ранних дневниковых записей Толстого, в которых посредством письма, придающего жизни порядок, организуется саморазвитие и самолечение.

Здесь уместно сделать еще одно небольшое отступление. При создании «Набега», Толстой постоянно обращается к одному источнику, к тексту Платона. В последнем варианте произведения это выглядит следующим образом: «Я вспомнил, что Платон определяет храбрость *знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться*, и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться*, а не того, *чего не нужно бояться*» (Толстой. Т. 3; с. 16–17). Цитата, которую приводит повествователь, взята из платоновского диалога «Лахет»: «Я имею в виду, Лахет, науку о том, чего следует и чего не следует опасаться как на войне, так и во всех прочих делах» [Платон, 1990, с. 286]. Такое мнение, о том, что есть мужество (а именно определению мужества посвящен диалог), приводит Никий, причем его истинность, обратим внимание, в конце произведения оспаривается Сократом.

Д. Орвин в работе «Следствия самосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой» (2007) отмечает, что Платон оказал значительное влияние на творчество Толстого: «Платон был единственным мыслителем и писателем, чье влияние оказалось столь велико, что Толстой открыто демонстрировал его в своих произведениях, сначала в “Набеге”, позднее последовательно в “Войне и мире” и “Анне Карениной”» [Орвин, 2022, с. 112]. Кроме того, исследователь верно указывает на существование не только тематических связей между текстами авторов, но и структурных. В одном из набросков к «Набегу» Толстой пытается буквально копировать диалогическую структуру платоновского диалога, от чего в

дальнейшем все же отказывается. Однако в окончательном варианте произведения диалогический характер текста никуда не пропадает: логика, согласно которой мнение каждого из участников оказывается неистинным, важна для толстовского текста.

Между тем, «Лахете» обнаруживаются и более интересные для нашего исследования моменты. Во-первых, сама фигура врача присутствует в высказываниях персонажей с первых и до последних слов. Во-вторых, Никий выражает мнение об ограниченности знания врача и несовпадении его области с той, что важна для пациента: «Да так, что он полагает, будто врачи знают о больных нечто большее, чем то, что полезно или вредно для их здоровья. А на самом деле знают они лишь это. Не думаешь ли ты, Лахет, будто врачи знают, что для некоторых здоровье более опасно, чем болезнь? Разве ты не знаешь, что для многих лучше не оправиться после болезни, чем оправиться? Скажи: ты считаешь, что всем лучше оставаться живыми, и не допускаешь, что многим лучше умереть?» [Платон, 1990, с. 287]. Врач знает о здоровье или нездоровье, но не о жизни и смерти. В этом мы обнаруживаем переключку с толстовским расподоблением знания врача и пациента. В-третьих, врачевание в тексте Платона понимается двояко. С одной стороны, это определенная профессиональная деятельность, связанная с разграничением здорового и нездорового и исправлением последнего, объектом которой является организм человека. С другой стороны, это еще и «врачевание души»: «Следовательно, надо рассмотреть, искусен ли кто-либо из нас во врачевании душ и способен ли он прекрасно о них заботиться, а также у кого из нас были хорошие учителя» [Там же, с. 275]. Сократовское понимание «врачевания» в данном контексте завязывается на заботе, осуществляемой через воспитание и обучение. Неокрепшие души необходимо «врачевать», используя ценный жизненный опыт, потому сама способность быть учителем крайне важна. Волонтер в «Набеге» выполняет функции доктора именно в этом смысле.

Сама идея рассказа, как было отмечено вначале, вырастает из попытки упорядочить и объяснить «храбрость». Однако на привычных конструкциях (по

типу «храбрость есть...») автор не останавливается. Всё дело в том, что понятие уже не воспринимается отвлеченно, оно находится в зависимости от ответа на вопрос, четко поставленный в одном из черновых вариантов рассказа: «Вот именно это-то мне и хочется видеть: как это, человек, который не имеет против другого никакой злобы, возьмет и убьет его, и зачем?...» (Толстой. Т. 3; с. 227). Рассудок, который в дневнике играл главную роль в деле лечения, не может дать этот ответ.

Заметим, что лаконичное определение храбрости, данное капитаном Хлоповым («...храбрый тот, который ведет себя как следует, сказал он, подумав немного» (Толстой. Т. 3; с. 16)), повествователь пытается доопределить, ссылаясь на текст Платона, а затем развивает из этого определения более обстоятельное объяснение. Но капитан его не поддерживает, а перенаправляет к юнкеру, который «любит пофилософствовать». Понимания не происходит, а целостность представления о войне, в которое едва добавились две новые координаты «храбрость» и «трусость», вдруг нарушается неожиданным переживанием смерти. Соответственно истинность такого определения храбрости в тексте оспаривается. Патология остаётся, а «лечение порядком» не работает.

Рассматривая многочисленные варианты произведения, сравнивая их с итоговой его версией, мы отмечаем изменение структуры текста, которая, по нашему мнению, связана с переосмыслением логики порядка, занимающей автора с первых опытов письма. Сам повествователь оказывается в некотором отношении близок к доктору: он стремится упорядочить войну в своем сознании подобно тому, как врач – механически восстановить тело.

Здесь уместно вспомнить дневниковые записи, в которых проводилось поступательное восстановление развращенной обществом души. Болезнь нарушения целостности, если можно так выразиться, не лечится простым рациональным упорядочиванием. На страницах дневника мы видели, что обретение себя происходит через очищение от «посторонних» влияний, через «разумное» возвращение к самому себе. Теперь же за обретением целостности проглядывает хрупкое чувство связи с жизнью, с миром в целом.

В то же время невозможность упорядочивания свидетельствует о том, что в толстовском художественном мире существуют вещи, вовсе ему не подлежащие. Одной из них, к слову, наряду со смертью является Бог, о чем мы читаем в дневнике этих лет следующее: «Не могу доказать себѣ существованія Бога, не нахожу ни одного дѣльнаго доказательства и нахожу, что понятіе не необходимо. Легче и проще понять вѣчное существованіе всего Міра съ его непостижимо прекраснымъ порядкомъ, чѣмъ существо, сотворившее его» (Толстой. Т. 46; с. 167). Или по-другому: существует высший порядок, недоступный человеческому рассудку, переживаемый как ощущение целостности жизни.

1.3. Лев Толстой и магнетизм

«Набег» – не единственное произведение Толстого, в котором наблюдается преодоление тотальной рациональности, преобладающей в ранних дневниковых записях. Нечто подобное обнаруживается при рассмотрении описаний методов лечения лекарей-кавказцев.

В дневнике Толстого за 1852–1853 гг. среди многочисленных кавказских впечатлений можно найти несколько отрывков, в которых отмечается специфика лечения на Кавказе. Особенно примечательна следующая запись (27 апреля 1852 г.): «Утромъ были у меня Нагай – лекарь и Япишка. *Ежели кто-нибудь дурно отблагодарить за труды Н[агая] л[екаря], то къ нему прикинется болѣзнь, которую онъ вылечилъ.* – Шайтанъ. Лечение сведенныхъ членовъ растираньемъ. *Наг[ай] подтверждаетъ мнѣніе, что большая часть странныхъ болѣзней и леченій простого народа объясняется магнетизмомъ*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 46; с. 114). Судя по всему, для Толстого в рассказе Нагая оказывается интересным факт «заражения» посредством мысли и слова, воспринятый не в ироническом ключе.

Обратим внимание, что больной не просто сам направляет болезнь на кого-либо: «заражение» происходит из-за его недолжного, неэтичного поведения. Больной и лекарь находятся в какой-то особой связи, выходящей далеко за рамки

контакта руки и тела, а потому их влияние друг на друга сложно рационально объяснить.

Как мы полагаем, именно рационально необъяснимое привлекает Толстого. Неслучайно он не останавливается на простой фиксации услышанного, а сводит лекарскую деятельность к явлениям животного магнетизма. Кроме того, показательна и сама формулировка: «большая часть странных болезней и лечений». Значит, в поле функционирования животного магнетизма в толстовском понимании находятся лишь неординарные явления, выходящие за рамки медицинских теорий, которыми писатель, отметим, интересовался на протяжении всей жизни.

Теория магнетизма стремилась получить признание в научной среде. Так, во всяком случае, было при ее зарождении. Исследовательский путь создателя этой теории, Ф.-А. Месмера, начался с успешной защиты диссертации «О влиянии планет» (*“De Planetarum Influxu”*, 1766). Она, конечно, ещё не объясняет существования животного магнетизма, однако ряд её положений не будет позже забыт или отвергнут магнетизером. В своих знаменитых 27 тезисах, прокладывающих новую теорию, он не стремится освободиться от влияния прежней медицины, а скорее надеется расширить ее инструментарий: «24) Эта теория даёт врачу неоценимую поддержку в применении лекарств, действие которых усиливается, что приводит к благотворным кризам, которыми возможно управлять и контролировать» [Месмер, 2014, с. 65]. Кроме того, Месмер ищет одобрения своей медицинской практики в различных официальных медицинских организациях, например, в Парижском медицинском обществе.

Заметим, что в теории магнетизма есть одно любопытное положение: это знание, которое было известно древним магнетизерам, а в медицине XVIII–XIX вв. оказалось утрачено. Так, в книге князя А. В. Долгорукова «Месмер и его начальная теория» (1846) читаем: «Существованіе животнаго месмеризма или магнетизма мы видимъ еще въ самой глубокой древности, въ одно время какъ на востокѣ, такъ и на югѣ. Разсматривая окомъ вниманія и истины, дѣйствія бывшихъ Жрецовъ Египетскихъ, а еще древнѣе въ Тессаліи, замѣчаемъ его у нихъ

и даже между народомъ» [Долгоруков, 1846, с. 7]. Но утраченное в официальной медицине находит преемственность в «народных» способах лечения. Тот же князь Долгоруков повествует в книге «Органон животного месмеризма» (1860) о практике заговоров некоего «мужичка из казаков», указывая на сродство увиденного с явлениями животного магнетизма: «Живя разъ въ одной изъ южныхъ губерній нашихъ, узналъ я, что одинъ *мужичекъ изъ казаковъ заговариваетъ отъ укушенія змѣй, точно удостовѣрясь въ его дѣйсствіяхъ надъ коровами, пришедшими съ поля съ распухшими вымями отъ укушенія*; еще болѣе надъ дѣвкою одного помѣщика Ольховскаго»(курсив наш. – В.М.) [Долгоруков, 1860, с. 85–86].

Думается, что Толстой не сразу отрестился от магнетизма именно из-за претензии последнего на статус утраченного «научного» знания. Спиритизм, напомним, вызывает у него резкое и однозначное отрицание. Впрочем, это «научное» знание тоже необходимо проверить. Толстой пишет: «Наг[ай] подтверждаетъ мнѣніе <...>» (Толстой. Т. 46; с. 114). Из этого следует, что услышанное, а позже записанное в дневнике является лишь одним из ещё не разделяемых и сомнительных свидетельств. Пишущий проявляет интерес, но держит дистанцию.

К середине XIX в. представления о магнетизме в сочинениях последователей Месмера не обрели какой-либо однородности: одни стремились к научному объяснению, к доказательности, а другие всякий раз подчеркивали возможность реализации лечения лишь опытным путем, исключая вредное теоретизирование. Кроме того, этот своеобразный беспорядок усиливало смешение месмеризма с другими теориями, например со спиритизмом [Дарнтон, 2024, с. 150–151]. Неудивительно, что толстовское понимание этого явления, судя по дневниковым записям, оказывается крайне замутненным.

Животный магнетизм оказал значительное влияние на европейскую литературу XIX в.: образы, сюжеты, идеи, в какой-то степени связанные с ним, прослеживаются в произведениях А. Дюма-отца О. де Бальзака, Т. Готье, В. Гюго [Там же, с. 177–187]. В большей степени следы этого влияния можно найти в

романтизме, характерный пример – произведение Э. Т. А. Гофмана «Магнетизер» (1814). Р. Дарнтон не без основания отмечает: «... Месмера можно считать первым германским романтиком, пересекшим Рейн; он со всей очевидностью проложил дорогу двоим наиболее ценным агентам влияния на французский романтизм – мадам де Сталь и доктору Д.-Ф. Корейфу» [Там же, с. 175]. Многие последователи Месмера находили в концепции животного магнетизма некий универсальный способ, позволяющий проникнуть за границы материального. Романтики, в сущности, тоже стремились преодолеть эти границы. Так Новалис в «Смешанных фрагментах» (1797–1798) пишет о «таинственном пути», ведущем в «глубины духа»: «Мы грезим о путешествиях во Вселенной – не в нас ли Вселенная? Глубины нашего духа нам неведомы – внутрь ведет таинственный путь» [Новалис, 2014, с. 88]. В этом, пожалуй, ярче всего проявляется их идейная близость.

В России об учении Месмера стало известно в середине 1780-х гг. Однако в художественной литературе о нем еще долгое время почти не упоминают. Всплеск интереса писателей к животному магнетизму приходится на 1830-е гг. Во многом этому послужила научная деятельность сторонников месмеризма И. Э. Ляхницкого и Д. М. Велланского. Богданов справедливо отмечает, что умонастроения, бытовавшие в обществе того времени, во многом характеризуются склонностью к восприятию невероятного и непостижимого: «Появляющиеся с середины 1830-х гг. литературные произведения, так или иначе касающиеся темы магнетизма, – первые главы романа А. Погорельского “Магнетизер”, роман Н. Греча “Черная женщина” (1834), повесть В. Ф. Одоевского “Косморама” (1840) – диктуются интересом к чрезвычайному и далеки от собственно научной рефлексии на предмет медицинских возможностей месмеризма» [Богданов, 2017, с. 204]. С полной уверенностью можно сказать, что Толстой либо вовсе не был знаком с этой литературной традицией, либо никак ее не воспринял.

10 октября 1852 г. он записывает в дневнике: «Надо испытать магнит[ный] пасъ, о к[оторомъ] я прочелъ въ С[овременникѣ?]. Я долженъ имѣть силу»

(Толстой. Т. 46; с. 145). Скорее всего, Толстой ознакомился с переводной статьей «Животный магнетизм и физиологические исследования его явлений», опубликованной в июльском номере «Отечественных записок» за 1852 г., о чём высказывается предположение в комментариях к юбилейному собранию сочинений, так как в «Современнике» в 1852 г. и в ближайшие годы никаких статей о магнетизме нет. Если это действительно так, то можно предположить, что писатель хотел испытать «одилическую силу», о которой говорится в этой статье.

Этот термин, введённый немецким исследователем К. фон Райхенбахом, обозначает жидкость, «разлитую по нервной системе» и являющуюся посредником между умом и телом. И, конечно, эту жидкость можно искусственно перенаправлять от головного мозга к брюшному: «Если эта жидкость подвергается влиянию другой, сильнейшей, от постороннего лица, или влиянию твёрдой воли, происходит изменение в распределении этой жидкости по телу: деятельность мозговой и нервической систем останавливаются или вступают в ненормальные отношения с умственными силами» [Животный магнетизм..., 1852, с. 97–98]. Такое заглушение разума путём использования внутренней силы способствует пробуждению инстинкта – и человек уже сам может помочь себе, подобно тому, как это делают животные, находя себе нужное «лекарство» в окружающем их мире.

Результатов этого «испытания», если оно действительно было, Толстой не оставил. Однако в 1853 г. отрывке дневникового характера – «Мысли» – находим такое высказывание: «3) Не может быть, чтобы лекаря и колдуны не вѣрили сами въ свою силу. Они безсознательно стараются заглушить здравый смысл надеждой на случай и стараются говорить и дѣйствовать какъ можно необдуманнѣе, надѣясь, что инстинктъ откроетъ и покажетъ имъ истину» (Толстой. Т. 46; с. 285). Думается, что и в данном случае писатель воспринимает лекарей, живущих на Кавказе, и их методы лечения в свете концепции животного магнетизма. Кроме того, по этой записи заметно, как меняется оценка явлений: от желания увидеть их в действии к неодобрению, о чём позволяют судить слова

«надеждой на случай», «надеясь», акцентирующие на вероятностном характере знания.

Итак, в немногочисленных дневниковых записях кавказского периода Толстой находит в деятельности горцев-лекарей пересечения с концепцией животного магнетизма. Или лучше так: он предполагает эту деятельность одним из проявлений магнетизма. Оснований для такого заключения несколько: во-первых, если можно так выразиться, убеждённости в возможности передачи некоторых телесных недугов через мысль и слово; во-вторых, наделение особым статусом врачующего субъекта, имеющего некую силу и уверенного в ней, как необходимое условие для оказания влияния на выздоровление; в-третьих, утверждение значительной роли инстинктов в процессе лечения.

В «Казаках» местные врачеватели появляются в связи с ранением Лукашки. Сначала сделаем базовое замечание: взгляд повествователя не направлен на процесс лечения. И это странно, ведь, например, в «Набеге» работа врача с телом пациента показана в деталях. Да и в «Казаках» сами увечные тела описываются подробно: «Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо, вдоль ребер. Синеватая свежее-выбритая круглая голова с запекшеюся раной с боку была откинута. Гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стекло-открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх, казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых в краях и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная, тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и ногти выкрашены красным» (Толстой. Т. 6; с. 38). Но не врачевание этих тел.

Можно предположить, что разгадка кроется в изменении толстовского письма. Как отмечает Эйхенбаум в работе «Молодой Толстой», писательская деятельность Толстого поначалу связана с выработкой «методологии самонаблюдения», заключающейся в формулировании многочисленных правил, применимых ко всем областям жизни, создании целых жизненных программ. Эта

крайняя рационализация подвергается критике писателя уже в рассказе «Набег»: казалось бы, уясненная волонтером в начале произведения сущность войны в «координатах» трусости и храбрости, в конце разрушается в переживании смерти Аланина. Рациональные объяснения в критических моментах человеческой жизни разрушаются.

Столкновение Оленина с миром природы и последующая невозможность слияния с ним объясняется тем, что герой не может не рационализировать свою жизнь, он оказывается неспособен отказаться от размышлений в пользу бытия. Ярким примером, подтверждающим это предположение, является письмо Оленина, которое он создаёт с целью понимания себя через упорядочивание. Ему необходимо разложить впечатления недавнего прошлого на элементы и написать: «Я мучаюсь, но прежде я был мертв, а теперь только живу» (Толстой. Т. 6; с. 124). Только после этого возможна «истинная» жизнь.

Таким образом, знание, которым наделён лекарь, не сообразно способу мышления Оленина и повествователя, потому последний ограничивается замечанием: «Оленин уехал домой. Вечером ему сказали, что Лукашка при смерти, но что татарин из-за реки взялся лечить его травами» (Толстой. Т. 6; с. 145). Однако этот способ лечения должен быть понятен героям, принадлежащим миру природы. Дядя Ерошка, к слову, кое-что сам знает о травах, о чём можно судить из его диалога с Лукашкой:

«— А что, дядя? Сказывали, у тебя разрыв-трава есть, — молвил он, помолчав.

— Разрыва нет, а тебя научу, так и быть: малый хорош, старика не забывает. Научить, что ль?

— Научи, дядя.

— Черепаху знаешь? Ведь она чорт, черепаха-то.

— Как не знать!

— Найди ты ее гнездо и оплети плетешок кругом, чтоб ей пройти нельзя. Вот она придет, покружит и сейчас назад; найдет разрыв-траву, принесет, плетень разорит. Вот ты и поспевай на другое утро, и смотри: где разломано, тут и разрыв-

травы лежат. Бери и носи куда хочешь. Не будет тебе ни замка, ни закладки» (Толстой. Т. 6; с. 63).

Отметим ещё одну параллель с магнетизмом: спектр применения трав также не ограничивается областью терапии. Магнетизер с помощью гипноза может получить от пациента самую удивительную (истинную) информацию о прошлом и будущем. И далеко не разум несет это знание, а нечто инстинктивное, сближающее человека с окружающим миром. Кроме того, магнетизеры в своей терапии часто используют различные вспомогательные средства⁵.

В «Казаках» умение лечить (и не только лечить, можно сказать, «правильно» пользоваться) травами также не в полной мере находится в ведении человека: верный способ воздействия подсказывают животные. Дядя Ерощка ни единожды настойчиво утверждает особый, отличный от человеческого характер знания животных, который можно назвать инстинктивным («Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умней человека, даром что свинья называется. Он всё знает» (Толстой. Т. 6; с. 57)).

Инстинкт здесь нужно понимать не как врождённые программы, служащие для удовлетворения биологических потребностей. Толстой периодически пользуется этим словом, но не как строгим научным термином. Поэтому уместно будет обратиться к словарю Даля: «ИНСТИ́НКТ м. лат. безотчетное побуждение, по которому дѣйствуютъ животные; побудокъ *сѣв.* побудка *вост.* У человека, разумъ и воля; у животнаго, то и другое слито въ побудкѣ» [Даль, 1981, с. 46]. Не пусковой сигнал и программа действия, а побуждение, в котором соединяются разумное и волевое начала. Благодаря такому единству у животных нет соблазна оторваться от мира в попытках его рационализировать⁶.

К подобным положениям приходит В. Вересаев в первой части книги «Живая жизнь» (1910), анализируя с опорой на философию А. Бергсона роль интеллекта и инстинкта в художественном мире Толстого: «Инстинкт — это мы

⁵Подробнее об этом см.: [Долгоруков, 1860, с. 210-224].

⁶К слову, Оленину однажды удастся почувствовать нечто похожее на инстинкт в самом себе: «Еще издавеча каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лоз и, обрывая ягоды, подошел к ней» (Толстой. Т. 6; с. 115).

уже делаем выводы из Бергсона, – *инстинкт немо вбуравливается всеми своими корнями в глубь жизни, целостно сливается с нею*, охраняет нас, заставляет нас жить, не помнить о смерти, бороться за жизнь и ее продолжение, но при этом молчит и невыявленным хранит в себе смысл того, что делает» (курсив наш. – В.М.) [Вересаев, 1991, с. 79]. Инстинктивное начало позволяет глубже проникать в самую суть жизни, но оно оказывается несовместимым с ее осмыслением. Для героев Толстого, в которых это начало активно, мучительное осмысление жизни и смерти было бы губительно.

Обратим внимание на один момент, где два типа знания сталкиваются: «Пройдя шагов сто в разговорах, старик опять остановился и указал на хворостинку, которая лежала через дорогу.

– Ты это что думаешь? – сказал он. – Ты думаешь, это так? Нет. Это палка дурно лежит.

– Чем же дурно?

Он усмехнулся.

– Ничего не знаешь. Ты слушай меня. Когда так палка лежит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь так-то с дороги, да молитву прочти: “Отцу и Сыну и Святому Духу”, и иди с Богом. Ничего не сделает. Так-то старики еще меня учили» (Толстой. Т. 6; с. 72).

Своеобразный гносеологический конфликт получается из-за безотчётной уверенности дяди Ерошки, с одной стороны, и невозможности её рационального объяснения Лениным – с другой. Кроме того, знание здесь во многом обуславливает зрение. В этом смысле Ленин в мире природы – слеп.

Но слеп не только он, но и доктора, отказавшиеся лечить раненого в грудь казака, ведь горец Саиб смог его вылечить травами. Примечательно, что в речи дяди Ерошки появляется противопоставление одного лекаря, имеющего конкретное имя, и неких обезличенных докторов. Такое обособление и выделение, если сказать по-толстовски, основано на убеждённости во внутренней «силе» горца. Особой же критики казака заслуживают хирургические операции: «Не, отец мой, ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. *Только*

резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашева не-человеком сделали, ногу отрезали. Стало, дураки. На что теперь Баклашев годится?» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 6; с. 148).

Оба примера демонстрируют специфику взгляда горцев-лекарей, тесно связанного с характером их знания. Врачи видят причины болезни и логику их лечения непосредственно в увечном теле. Для лекаря же важна инстинктивно понимаемая связь человека с миром. Эту связь толстовский текст намеренно умалчивает.

Деятельность горцев-лекарей (и конкретно лечение травами), как кажется, вписывается в толстовское понимание концепции животного магнетизма. Однако в тексте произведения, в его вариантах, в отличие от дневниковых записей, этому нет никакого буквального подтверждения. Грубо говоря, без дневника вряд ли вообще была бы возможность для существования подобных утверждений.

Кроме того, известно, что Толстой работал над повестью около 10 лет, а значит – его взгляды могли значительно поменяться. В 1857 г., находясь в заграничном путешествии, писатель идет на прием к магнетизеру: «[30 апреля/12 Мая. Женева – Амфион.] 12 Мая. Всталъ въ 8, пошелъ къ магнетизеру, доктору, вѣрующій твердо» (Толстой. Т. 47; с. 127). Почти параллельно с этой дневниковой записью появляется ещё одна в записной книжке: «[29 апреля/11 мая. Женева.] 11 Мая. Объясненіе магнетизма Lafontain'a: забыть себя тѣломъ, тогда душа безсознательна. Тѣло сознательно. <...> Едва ли главная задача человѣка любовь, а не самозабвеніе. Самозабвеніе до того прелестно, что человѣкъ для злобы, для славы, для корысти забывающій себя – великъ! Ребенокъ любезенъ – въ забвеньи горячки всемогущъ. Душа не имѣетъ самосознанья, одно тѣло. *Богъ далъ человѣку всемогущую душу и заковалъ ее въ тѣло.* Забывать тѣло – усиливать власть души» (Толстой. Т. 47; с. 206). Нельзя сказать, об одном ли человеке идёт речь в этих цитатах. Однако можно предположить, что Толстой лично или опосредованно познакомился с идеями Ш. Лафонтена, известного магнетизера, проживавшего в то время в Женеве.

В его главном сочинении, впервые опубликованном ещё в 1848 г. под названием «L'art de magnétiser: ou le magnetisme animal considéré sous le point de vue théorique, pratique et thérapeutique», большое внимание уделяется рассмотрению соотношения душевного и телесного начал в человеке. Вот так он объясняет явление «магнетического сомнамбулизма»: «Le somnambulisme magnétique est la veille dans le sommeil; c'est l'âme dégagée de la matière et jouissant de ses facultés propres. Elle semble indépendante du corps, tout en y tenant toujours par un fil; mais les liens sont relâchés par l'anéantissement de la matière» [Lafontaine, 1852, p. 93]. Душа, согласно Лафонтену, может под влиянием магнетизера освобождаться от тела. Тело во время сеанса действует механически, неосознанно, душа же преодолевает влияния материи, благодаря чему способности человека значительно увеличиваются: расстояния, время, непрозрачные предметы перестают являться для него препятствиями. Душа становится сама собой – «божественной сущностью»: «Nous allons entrer dans la plus belle phase du magnétisme, où l'âme se montre ce qu'elle est: une essence toute divine» [Ibid, p. 110].

Концепция Лафонтена значительно преломляется в толстовском восприятии. Она словно больше не накладывается на физические явления. Толстой связывает её с вопросом о назначении человека. Как мы уже наблюдали, для него это типичный поворот рассуждения, а одновременно и метод оценки значимости какой-либо теории.

Рассуждения магнетизера наталкивают Толстого на такое предположение: смысл человеческой жизни – самозабвение, осуществимое через преодоление телесности. В теле «Бог заковал всемогущую душу». Передавая его забвению, человек способен приближаться к божественному, обретать «величие» в преодолении материи. Так забывает свое тело Оленин, отдавая его комарам «на съедение» в знаменитой сцене в логове старого оленя. Однако идея «жизни для других» в ней, очевидно, уже лишена какой-либо связи с концепцией животного магнетизма.

Толстой, переименовав месмеризм на свой лад, постепенно удаляется от него. В дневнике за 1858 г. читаем: «Вчера за обедом. Я говорю, что магнетизм нельзя доказать. М[ашинька] говорит, что я меняюсь всегда, и я верил прежде» (Толстой. Т. 48; с. 18). Во-первых, эта запись еще раз подтверждает, что животный магнетизм интересует Толстого как знание обоснованное, проверяемое, «доказательное». Во-вторых, он не однозначно отрекается от магнетизма, а словно перемещает его из разряда объяснительной теории в разряд «странных» лечений, близких народным практикам.

Но не одними травами в «Казаках» лечат Лукашку:

«— Что ж Лукашка? Ты был у него? — спросил он.

— Да лежит, как мертвый. Не ест, не пьет, только водку и принимает душа. Ну, водку пьет, — ничего» (Толстой. Т. 6; с. 148). Он «лежит, как мертвый», находя силы к жизни, не позволяющие душе расстаться с телом, в водке. В некотором смысле, крепкий алкогольный напиток замещает кровь, потерянную при ранении: «Лукашка упал. На животе у него показалась кровь. Он вскочил, но опять упал, ругаясь по-русски и по-татарски. *Крови на нем и под ним становилось больше и больше*» (курсив наш. — В.М.) (Толстой. Т. 6; с. 145). Молодой казак продолжает браниться, но вскоре замолкает: «Скоро он замолк от слабости» (Толстой. Т. 6; с. 145). С кровью из него уходят силы к жизни, водка же их возвращает, пусть и в меньшем объеме. Во всяком случае, так это понимает дядя Ерошка.

Подобная логика наблюдается и в рассказе последнего о собственном ранении. Однажды Ванька Ситкин, казак, «балуюсь», выстрелил дяде Ерошке в спину. Последний же стал требовать от стрелявшего «возместить» собственную смерть алкоголем: «Я и говорю: ты ведь меня убил, братец мой. А? Чтó ты со мной сделал? Я с тобой так не расстанусь. Ты мне ведро поставишь» (Толстой. Т. 6; с. 147). Дальше это «возмещение» воплощается уже буквально, растет пропорционально потере крови: «Ведро поставил. Выпили. А кровь всё льет. Всю избу прилил кровью-то. Дедука Бурлак и говорит: “Ведь малый-то издохнет. Давай еще штоф сладкой, а то мы тебя засудим”. Притащили еще. Дули, дули...”» (Толстой. Т. 6; с. 147).

Данный метод лечения скорее напоминает мистерию, чем практику месмеризма. Магнетизеры зачастую в своей деятельности использовали заранее подготовленную воду, но не алкогольные напитки. Долгоруков пишет об этом: «Квасъ, уксусъ, бульонъ и водка вовсе не принимаютъ въ себя месмеризма, такъ какъ спиртъ, ликёръ и подобная жидкость. Вина наши къ большому удивленію не принимаютъ его, хотя это противно древнимъ фактамъ; но не надо забыть того, что собственно азіятскія вина дѣлаются изъ замоченнаго водою винограда и употребляемая тамъ вмѣсто питья скорѣе могутъ назваться сокомъ винограднымъ, чѣмъ виномъ, по неимѣнію въ себѣ спирта; а потому онѣ легко и принимаютъ въ себя животный месмеризмъ» [Долгоруков, 1860, с. 211–212]. Вместе с повышением крепости напиток исчезает возможность для его месмерования, а вместе с этим и возможность лечения. В рассказе же логика обратная: чем крепче напиток, тем действеннее его лечебный эффект. Душа умирающего Лукашки принимает водку, а не вино.

Как уже ни единожды отмечалось исследователями творчества Толстого, начиная с Д. С. Мережковского, в «Казаках» значителен мифологический подтекст. Мотивы крови и вина, шутовства в произведении отсылают к культу Диониса, а сцены праздника в казачьей станице во многом напоминают дионисийские мистерии. Одним из примечательных проявлений культа этого умирающего и воскресающего бога является практика омофагии. Б. Отто в статье «Приносимый в жертву бог» (1994) указывает на любопытный факт: «Омофагия практиковалась ради крови – божественного жизненного сока, который сам есть часть бога произрастания. Кровь этого божества текла из плодов деревьев и кустарников, из принесенного в жертву животного, из принесенного в жертву человека» [Отто, 1996, с. 118]; «Бог сам приносился в жертву. Он требовал своей собственной жертвенной крови, чтобы тем самым получить назад ту часть самого себя, которая поступила в природу, в мир растений и живых существ» [Там же, с. 308]. Эта логика возмещения утраченной жизненной силы близка тому, что мы наблюдаем в сценах «лечения водкой» в «Казаках». Дядя Ерошка и Лукашка теряют кровь, а вместе с ней и жизнь. Восстановить утраченное можно лишь

через такое своеобразное приобщение к природе, к таящейся в ней возможности возрождения.

Однако оба варианта врачевания оказываются за пределами толстовского письма, неспособного зафиксировать этот специфический взгляд в словах. От героев, принадлежащих «кавказскому миру», читатель (как и сам Оленин) узнает о местных способах лечения либо через констатацию, либо через достаточно скудную историю, содержащую в себе явные элементы вымысла.

Д. Агамбен в работе «Костер и рассказ» (2014) подчеркивает причудливую связь литературы и мистерии. В частности, исследователь обращает внимание на жанр романа, в котором одновременно утрачивается мистерия и присутствует воспоминание о ней. Тайна, воплощаясь в повествовании, истории, перестает существовать: «Элементом, в котором рассеивается и утрачивается мистерия, является история. <...> Мы можем приблизиться к мистерии только через историю, но в то же время (или, может быть, надо сказать: “на самом деле”) история – это то, в чём мистерия погасила или спрятала свои костры» [Агамбен, 2015, с. 15].

В «Казаках» Толстой, пожалуй, чуть ли не единственный раз старается сохранить мистику, тайну. Он словно приподнимает завесу, но не дает проникнуть в «механизмы» кавказской жизни, о чем свидетельствуют вышеописанные особенности медицинского дискурса в произведении. Животный магнетизм, занимающий писателя во время работы над повестью, противоречит мистерии, так как в некотором смысле раскрывает взаимоотношения человека и мира, «рассказывает» о них. Тайна преодоления болезни, а значит, и тайна вокруг границы между жизнью и смертью остаются сокрытыми в этом практически номинативном изложении методов лечения.

1.4. Поиски лечения: от гимнастики к труду

Наблюдения над медицинским дискурсом в творчестве Толстого приводят к следующей мысли: патология, болезнь в текстах писателя 1850–1860-х гг. значительнее, чем лечение. Доктора в «Детстве», «Набеге», «Севастопольских

рассказах», «Трех смертях», «Казаках» либо не могут повлиять на недуг, либо причиняют еще большие страдания. Даже в дневнике избавление от «разврата души» не столь важно, сколь само открытие этой перспективы.

Между тем, поиски методов лечения всё же ведутся. В списке задач, которые ставит себе «молодой» Толстой в 1847 г., вторым пунктом идет изучение практической медицины и части теоретической: «1) Изучить весь курсъ юридическихъ наукъ, нужныхъ для окончательнаго экзамена въ Университетѣ. – 2) *Изучить практическую Медицину и часть теоретической.* 3) Изучить языки: Французскій, Русскій, Нѣмецкій, Англійской, Итальянской и Латинской. 4) Изучить Сельское хозяйство, какъ теоретическое, такъ и практическое. 5) Изучить Исторію, Географію и статистику. 6) Изучить Математику, Гимназическій курсъ. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть средней степени совершенства въ музыкѣ и живописи. 9) Написать правила. – 10) Получить нѣкоторыя познанія въ Естественныхъ наукахъ. 11) Составить сочиненія изъ всѣхъ предметовъ, которые буду изучать»(курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 46; с. 31). Эйхенбаум отмечает, что это не программа реальных занятий, а программа как самоцель, не выбивающаяся из специфики методологического периода творчества писателя [Эйхенбаум, 1922, с. 19]. И всё же «сознательное стремление к развитию всего существующего» проходит через конкретные области знания, список их широк, но не безграничен. Практическая медицина, ведущая к избавлению от недуга или к облегчению страданий, поначалу находится в фокусе интересов Толстого. Позже, отчасти вследствие разочарования в возможности полного подчинения жизни рассудку, она становится объектом критики на протяжении всего творчества.

Некоторое время Толстой интересуется неофициальной медициной. Во время пребывания на Кавказе он записывает в дневнике методы лечения местных лекарей⁷, читает статьи посвященные магнетизму. Кроме того, известно, что Толстой в конце 1850-х г. посещает спиритические сеансы, бывает на приеме у

⁷«Ногаецъ Аибъ лечилъ мое горло порошкомъ чернильнаго орѣха. Онъ увѣряетъ, что гладкій орѣхъ полезенъ для мужчинъ, а шишковатый для женщинъ» (Толстой. Т. 46; с. 209)

магнетизеров. Впрочем, серьезного влияния это на него не оказывает. К спиритизму и магнетизму он относится недоверчиво, а методы лечения кавказских лекарей, появляющиеся в повести «Казачи», остаются недоступными для понимания тех, кто не включен в мир природы.

Вопрос о болезни и лечении будто повисает в воздухе: это нечто недоступное стороннему осознанию, каждым в отдельности переживаемое, некая таинственная область, границы которой могут ощущаться окружающими, но пересекает их лишь непосредственно страдающий субъект. На самом же деле Толстой, вновь прибегая к логике порядка, планомерно подходит к разрешению этого вопроса в своих религиозно-философских и публицистических произведениях.

Сущность медицины вновь рассматривается писателем уже на фоне проблемы социального неравенства в его труде «Так что же нам делать?» (1886). Лечение, которое предлагает медицинская наука, не доступно трудящемуся большинству, а потому врачу необходимо поменять среду, перестроить свою деятельность, отталкиваясь от условий жизни «рабочего народа». Толстой отмечает: «Область медицины, как область техники, лежит еще непочатая. Все вопросы о том, как лучше разделять время труда, как лучше питаться, чем, в каком виде когда, как лучше одеваться, обуваться, противодействовать сырости, холоду, как лучше мыться, кормить детей пеленать и т.п., именно в тех условиях, в которых находится рабочий народ, – все эти вопросы еще не поставлены» (Толстой. Т. 25; с. 359–360). Для писателя очевидно, что «истинной» медицины еще не существует. Различению «истинного» и «ложного» способствует не уединение, как это было в дневнике, а приобщение к другим через трудовую деятельность. При этом те задачи, которые писатель ставит перед «истинной» медициной, ограничиваются областью гигиены. Нет необходимости вторгаться в тело больного, достаточно научить здорового, как меньше болеть.

Приверженность к методам, находящимся на границе медицины и педагогики, в текстах Толстого сохраняется. Вновь обучение связано с идеей упорядочивания жизни. Нужно преподавать «рабочему народу» правильные

способы организации телесной деятельности, исходящие из условий существования трудящихся. Это не столько поспособствует лечению, сколько предотвратит само возникновение большинства заболеваний.

«Истинная» медицина, по Толстому, никак не связана с контактом руки врача с телом пациента, с избавлением от телесного недуга, с облегчением страданий. Порядок силлогизмов, наблюдаемый в дневнике 1847 г., сменяется поддержанием порядка, на который указывает сама жизнь человека: «Обязанность человека борьбы с природою для приобретения средств жизни всегда будет самой первой и несомненной из всех других обязанностей, потому что обязанность эта есть закон жизни, отступление от которого влечет за собой неизбежное наказание – уничтожение или телесной, или разумной жизни человека» (Толстой. Т. 25; с. 381). Медицина должна чтить «закон жизни» и помогать наилучшим образом исполнять его.

Физический труд в тексте Толстого тесно связан со здоровьем. Причем он всегда идет на пользу человеку: «На вопрос о том, не расстроил ли бы этот непривычный труд здоровья, необходимого для возможности служения людям, оказалось, что несмотря на положительные утверждения знаменитых врачей, что физический напряженный труд, особенно в мои года, может иметь самые вредные последствия (а что лучше шведская гимнастика, массаж и т.п. приспособления, должны заменить естественные условия жизни человека), оказалось, что *чем напряженнее был труд, тем я сильнее, бодрее, веселее и добрее себя чувствовал*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 25; с. 384–385). Переизбыток невозможен: человек получает энергию из пищи, а расходует её в труде. Равенство полученного и потраченного дарует здоровье. Именно энергия, не находящая выхода, является причиной возникновения большинства патологий: поглощение в этом случае становится самоцелью, порядок взаимоотношений между человеком и миром нарушается.

Современная Толстому медицина, подменяющая естественные условия жизни человека, попросту не нужна при условии исполнения человеком своей главной обязанности. Труд же становится своеобразным лекарством только в

извращенных условиях человеческого бытия. Впрочем, это лекарство не прописывает врач, в его посредничестве нет необходимости.

Между тем, жизнь в борьбе с природой полностью не избавляет от болезни и смерти. Об этом Толстой размышляет в своем религиозно-философском труде «О жизни». Всматривание в тело, в «механику» заболевания, по Толстому, не позволяет дать ответ на вопрос о причинах и целях страдания: «Объяснения рассудочные ничего не объясняют. *Рассудочные объяснения всех таких явлений всегда минуют самую сущность вопроса* и только еще убедительнее показывают неразрешимость его. Я заболел оттого, что залетели туда-то такие-то микробы...» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 26; с. 424). Толстовская мысль не допускает случайностей, не позволяет явлениям существовать сколько-нибудь разрозненно. Она нуждается в «генерализации», в некоторой постоянной соотнесенности с главной идеей: «И в самом деле, если мы под жизнью разумеем жизнь, а не подобие ее, если истинная жизнь есть основа всего, то не может основа зависеть от того, что она производит: не может причина происходить из следствия, не может течение истинной жизни нарушаться изменением проявления ее» (Толстой. Т. 26; с. 421). Стремление к объяснению и упорядочиванию позволяет преодолеть ранее непроницаемую границу больного существа⁸. Однако страдание не подвергается наблюдению, его просто нет: «Для человека, живущего по своему закону, нет смерти и нет страдания» (Толстой. Т. 26; с. 435).

Во введении к рассматриваемому сочинению Толстой упоминает популярное в то время определение жизни, данное М. Ф. К. Биша в его работе «Физиологические исследования о жизни и смерти»⁹ (1800): «Опредѣленіе жизни отыскивають въ отвлеченныхъ соображеніяхъ; я полагаю, что его найдутъ въ этомъ общемъ положеніи: *жизнь сеть совокупность отправления, противящихся смерти*» [Биша, 1865, с. 1]. Тела, «одаренные жизнью», по Биша, сопротивляются

⁸ Нужно отметить, что этому шагу сопутствует желание писателя создавать нехудожественные тексты.

⁹ На русский язык произведение было переведено в 1865 г/ П. А. Бибиковым.

действию других тел (органических и неорганических) до тех пор, пока сила противодействия не иссякает.

Толстой с таким определением категорически не согласен. Он усматривает начало «истинной» жизни человека в моменте «отрицания блага животной личности». Можно сказать, что именно упорядочивание, подчинение тела знаменует рождение «разумного сознания». «Истинная» жизнь не есть жизнь тела, потому что оно осознается посредством разума. Сама способность к познанию для «истинной» жизни первична. Эти рассуждения, зародившиеся еще на первых страницах дневника, обстоятельно развивается в философском труде.

Особенности толстовской гносеологии во многом объясняют его взгляд на медицину. Суждения писателя о познании звучат в духе радикального рационализма: «Разум не может быть определяем, да нам и незачем определять его, потому что мы все не только знаем его, но только разум один и знаем» (Толстой. Т. 26; с. 347–348). Внешний мир дается не в непосредственных ощущениях, а полном соответствии познаваемого «законам разума». Кроме того, «истинное» познание в тексте Толстого невозможно отделить от «стремления к благу»: его отсутствие указывает на ложность мысли. Человек преодолевает «животную» единичность в постоянном осуществлении общего «блага», тем самым разрывает границы собственного тела. Конфликт, обозначенный в определении жизни по Биша, преодолевается Толстым.

А потому во врачевании тела нет необходимости. Нет нужды искать пути избавления от страдания, нет нужды бороться со смертью, так как патология и умирание не нарушает целое – это часть того божественного порядка, который Толстой ранее осознавал недоступным для познания. Болезнь не угрожает жизни человека, а дает представление о границах тела и о безграничности разума. Болезни нет для тех, кто привёл свою жизнь к порядку, а с ним обрел целостность, которую не может нарушить животное существование.

Стоит заметить, что стремление к истинной жизни, заключающейся в подчинении животной личности разумному сознанию, не исключает следующей особенности: тело не уходит на периферию, а наоборот – остается одним из

центральных объектов внимания, подлежащих постоянному осмыслению. Тело опасно, так как без разумного контроля человек может стать на путь плотских наслаждений, за которыми неизбежно следует страдание, венчаемое принятием идеи смерти. В то же время, тело, воспринимаемое как средство, есть необходимость для осуществления всеобщего блага: «Животная личность человека – это лопата, которая дана разумному существу, чтобы ею копать и, копая, тупить ее и точить, тратить, а не очищать и хранить» (Толстой. Т. 26; с. 367). Аспект наслаждения в толстовском восприятии телесности не выводится, а усиливается, подчиняясь при этом этическим мотивам: если тело не растрачивается, если в нём остается энергия и нет ощущения усталости от физической работы, то возникает чувство этически окрашенного неудовольствия.

В конце XVIII и на протяжении почти всего XIX в. гимнастика, сформировавшаяся еще в Античности, переживает новое рождение. Гимнастические занятия древних греков живут в культурной памяти, но в то же время появляется ряд новшеств, формирующих иной взгляд на тело. Ж. Вигарелло, французский историк, специализирующийся, в частности, на изучении различных телесных практик, отмечает: «Иными словами, в новый проект были включены упражнения, называвшиеся “гимнастическими” еще с Античности, но центральное место в нем по-прежнему занимали ритмизированные движения. Однако он не просто довел до конца легитимацию термина “гимнастика”, но и сообщил ему совершенно новое понимание механики, последовательности, цепочки движений» [Вигарелло, 2018, с. 311]. В обновленной гимнастике центральное место занимает анализ движения. Точное измерение силы (с помощью динамометра Ренье) совмещается с углубленным изучением анатомии и физиологии мышц¹⁰.

¹⁰ В частности, исследование Э.Ф. и В.Э.Веберов «Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge» (1836). В России большое внимание научному обоснованию физического воспитания уделял П.Ф.Лесгафт, известный врач и ученый, автор работ по анатомии, педагогике и антропологии. Отметим здесь две из них: «Основы естественной гимнастики» (1874); «Об отношении анатомии к физическому воспитанию» (1876).

В «Гимнастике для юношества, или основных правилах различных упражнений, служащих к укреплению тела, к поддержанию здоровья и к образованию доброго темперамента» (1834)¹¹, к примеру, логика функционирования гимнастической механики проясняется в специальной главе «О влиянии гимнастических упражнений на здоровье и силу». Автор пособия строит свое рассуждение, отталкиваясь от предположения о существовании «двух родов» движений тела: первые связаны с поддержанием и сохранением жизни и не зависят от «нашей воли» (например, биение сердца); вторые, напротив, совершаются с помощью мускулов, «подвластных нашей воле» и, что немало важно, занимающих большую часть тела («по тягости и объему»), чем все остальные органы вместе. Мускулы («мясо», «страдательные органы движения») пронизаны нервами и кровеносными жилами, управляющими мышечной деятельностью. Но вместе с тем мышцы через те же нервы и жилы имеют обратное влияние на сердце и мозг, «вместилище души» (благодаря движению, например, увеличивается пульс, оживляются умственные способности): «Таким образом от деятельности мускулов происходит всеобщее возбуждение, распространяющееся по всем органам» [Гимнастика для юношества..., 1834, С. 9]. При выполнении гимнастических экзерциций происходит «механическое потрясение», укрепляющее мышечные волокна, а также «связь органов и самые органы». При этом автор пособия подчеркивает, что к болезни может привести как покой, так и излишнее усердие: в гимнастике важна умеренность.

В России этот «новый проект» появляется с конца 1820-х гг. Особую роль в организации гимнастических заведений и популяризации гимнастики на начальном этапе сыграл профессор Гюстав де Паули, шведский гимназиарх, преподававший эту дисциплину в военно-учебных заведениях и частных пансионах, а в 1836 г. основавший в Санкт-Петербурге «училище Гимнастики».

¹¹ Одно из первых переводных пособий, созданное под влиянием деятельности Ф. Аморога, новатора в области физического воспитания в Испании и Франции. Отметим, что основной текст этой книги предваряет краткий комментарий переводчика, в котором подчеркивается, «как далеко отстали мы в сей важной части воспитания» от «целой Европы».

После его смерти в 1839 г. почти на два десятилетия ему на смену пришел де Рона (де-Рон, Де Рон, Дерон), шведский врач и преподаватель гимнастики.

Гимнастических систем бытовало много. Даже в пределах немецкой гимнастики, например, можно выделить отличающиеся друг от друга подходы. Как показал Лесгафт в работе «Приготовление учителей гимнастики в государствах Западной Европы» (1877–1880), представляющей собой обширный научный отчет о командировке по гимнастическим заведениям европейских государств, гимнастика в Штутгарте преподается иначе, чем в Дрездене: первую он оценивает как вполне приемлемую для физического воспитания взрослых, принадлежащих «преимущественно к военному сословию», вторую – как устаревшую и антинаучную.

В русскую жизнь эти системы приходили без особого порядка. Следование какой-либо из них было связано, как правило, с личностью преподавателя, приглашенного на службу в Россию. Так, например, швед Паули, ориентировался на французскую традицию, выработанную Амороном, а де Рон брал за основу шведскую систему гимнастики [Глезеров, 2009, с. 25–26]. Только с 1870-х гг. стали появляться серьезные труды, созданные русскими врачами и педагогами (прежде всего, Лесгафтом), в которых анализировался европейский опыт физического воспитания и лечения посредством гимнастических упражнений, а также предпринимались попытки на его основе найти собственный подход в осмыслении и применении этой телесной практики.

Гимнастика не сразу стала популярным занятием в столичном светском обществе. А потому гимнастический дискурс в русской литературе обнаруживается только в середине 1840-х гг. Так, граф В. А. Соллогуб в 1847 г. опубликовал в «Санкт-Петербургских ведомостях» в рубрике «Петербургская летопись» фельетон «Гимнастика. – Маскарад Благородного Танцевального Общества. – Художественный базар», позже включенный им в сборник «Черты петербургской жизни 1847 года». В этом произведении он последовательно высмеивает основные черты в то время входившей в моду гимнастики.

Во-первых, гимнастические занятия не требуют медицинского контроля, их можно и нужно выполнять не только в специализированных заведениях, но и дома. При этом гимнастика не просто забава, позволяющая развивающая силу и ловкость, но и средство для избавления от различных недугов, не требующее от того, кто им пользуется, обязательного прохождения обучения на медицинском факультете: «Теперь такой вѣкъ, что все можно знать, ничему не учившись. Кому угодно быть докторомъ – сдѣлайте одолженіе, попросту, безъ церемоніи, я докторъ, вы докторъ, онъ докторъ, *мы всѣ доктора: стоитъ только встать въ хорошемъ расположеніи духа, или прибить кого-нибудь хорошенько*» (курсив наш. – В.М.) [Соллогуб, 1856, с. 31]. «Старая» медицина с ее «вечными опытами и изучениями», сатирически отмечает Соллогуб, так и не избавившая человека от смерти, уже потерявшая свой авторитет под влиянием новых альтернативных теорий (магнетизм, гомеопатия, водолечение), в принципе «исчезает». Во-вторых, преимущество гимнастики не только в доступности, но и в универсальности. Многочисленные упражнения приводят в порядок тело и оздоравливают дух¹²: «Гимнастика не только вылечиваетъ отъ всѣхъ тѣлесныхъ недуговъ, но, въ добавокъ, ободряетъ духъ, оживляетъ и веселитъ сердце» [Там же, с. 33]. К примеру, если вы расстроены оттого, что написали плохую статью, то вам, чтоб вернуть прежнее расположение духа, необходимо махать руками, прыгать, топать, драться и плясать. В-третьих, необходимость гимнастики обуславливается образом жизни светских людей, исключаящим необходимую мышечную активность¹³. «Неповоротливый образ жизни» – главная причина большинства недугов: «У кого голова болитъ, у кого бокъ; каждый лечится отъ какой-нибудь хронической болѣзни. Еще бы немного – и весь Петербургъ захворалъ бы. <...>И все это отъ сидячей жизни отъ недостатка движенія, отъ незнанія

¹² «Гимнастическія упражненія имѣютъ также вліяніе на духъ, ибо при многихъ изъ нихъ тѣлесная сила подчиняется духовной...» [Домашняя врачебная гимнастика..., 1858, С. 19].

¹³ «Въ настоящее время гимнастика составляетъ искусство, необходимое по нашимъ жизненнымъ отношеніямъ, имѣющимъ вредное вліяніе на здоровье большаго числа людей, какъ-то: чиновниковъ состоящихъ на службѣ, людей ученыхъ, купцовъ, ремесленниковъ и вообще дѣловыхъ, тѣмъ самымъ, что, ведя сидячую жизнь, лишенную потребнаго движенія, они не обращаютъ должнаго вниманія на свое тѣлесное состояніе» [Там же, с. 6].

гимнастики. Къ тому же, при неповоротливомъ образѣ жизни, кровь сгущается, нервы ослабѣваютъ, воображеніе гаснетъ, умъ тупѣетъ»(курсив наш. – В.М.) [Соллогуб, с. 33]. Таким образом, хотя гимнастика в этом фельетоне предстает очередным модным увлечением светского общества, очередной панацеей, Соллогуб все же выделяет (и сатирически осмысляет) ее ключевую особенность: внимание к движению, к мускульной механике.

В Москве это увлечение набирает популярность в 1850-е гг. В воспоминаниях А. А. Фета, относящихся к середине десятилетия, есть любопытное свидетельство: «В то время у светской молодежи входили в моду гимнастические упражнения, между которыми первое место занимало прыганье через деревянного коня. Бывало, если нужно захватить Льва Николаевича во втором часу дня, надо отправляться в гимнастический зал на Большой Дмитровке. Надо было видеть, с каким одушевлением он, одевшись в трико, старался перепрыгнуть через коня, не задевши кожного, набитого шерстью конуса, поставленного на спине этого коня. Неудивительно, что подвижная, энергическая натура 29-летнего Л. Толстого требовала такого усиленного движения, но довольно странно было видеть рядом с юношами старцев с обнаженными черепами и выдающимися животами. Один молодой, но женатый человек, дождавшись очереди, в своем розовом трико, каждый раз с разбегу упирался грудью в круп коня и спокойно отходил в сторону, уступая место следующему» [Фет, 1989, с. 260]. В этом отрывке обратим внимание на два момента. Во-первых, отмеченный поэтом контингент посетителей гимнастического зала («энергические натуры» по типу Толстого¹⁴, «старцы с обнаженными черепами и выдающимися животами», вообще люди, явно не отягощающие себя регулярной физической нагрузкой) позволяет предположить, насколько влиятельным в эти годы в идейном плане был «новый проект» гимнастики¹⁵. Во-вторых, Толстой,

¹⁴ Толстой начинает посещать гимнастический зал Я. В. Пуаре, преподавателя гимнастики и фехтования, с начала 1850-х гг.

¹⁵Обновленной гимнастике была свойственна тяга к универсальности: гимнастические упражнения для человека любого пола и возраста средством являются доступным средством, позволяющим сохранить здоровье тела и духа. Этот факт, к слову, отражается даже в названиях

подающий надежды писатель, автор «Детства», «Отрочества» и ряда военных рассказов, в тексте Фета словно становится частью гимнастического контекста эпохи: застать его можно (пусть и «во втором часу дня») не за письменным столом, а на гимнастическом снаряде.

Известно, что Толстой практически всю жизнь увлекался гимнастикой, любил физическую работу. Биографических данных об этом много. Регулярный отчет о гимнастических занятиях, оценка выполнения упражнений занимают не последнее место в дневниковых записях писателя. Порудоминский в книге «Если буду жив, или Лев Толстой в пространстве медицины» достаточно подробно и точно реконструирует его физический облик на основе различных биографических данных [Порудоминский, 2012, с. 49–69], начиная с особенностей походки, стремления двигаться, «точить» и «тратить» себя в труде и заканчивая мелкими, но выразительными чертами его внешности.

Внимание Толстого к воспитанию собственного тела было настолько яркой и значительной его чертой, что, например, тот же Фет одно из писем завершает следующей фразой: «Жму Вашу гимнастическую руку» [Фет, 1989, с. 308]. Конечно, внешний облик писателя часто сливался в восприятии современников с тем, что за ним скрывается: «Творческая, духовная мощь Толстого, его телесная энергия и сила, сливаясь воедино, создают образ, который его давний приятель, поэт Афанасий Афанасиевич Фет, обозначает словом *богатырь*» [Порудоминский, 2012, с. 59].

Толстовские характеристики, относящиеся к занятиям гимнастикой, «рассыпанные» по страницам дневника писателя, привлекают внимание не только своей регулярностью. Многие из них имеют этический оттенок: «Гимнастику дѣлалъ неосновательно, т. е. слишкомъ мало соображаясь съ своими силами, эту

пособий, пользовавшейся огромной популярностью во второй половине XIX в., таких как «Домашняя врачебная гимнастика, для обоого пола и для всехъ возрастовъ, начиная отъ 3-хъ и свыше 60-ти летъ: составлена по методамъ Шребера и Клосса с присовокуплениемъ правилъ: борьбы, плаванія, катанія по льду и гимнастическихъ игръ : с 69-ю изображениями» (1858); «Врачебно-комнатная гимнастика, или изображение и описание врачебно-гимнастическихъ движеній, не требующихъ ни снарядовъ, ни пособій и потому всегда и вездѣ удобоисполнимыхъ, для всякаго возраста и пола» (1855) Д. Г. М. Шребера.

слабость я вообще назову: *заносчивость*, отступление от действительности» (Толстой. Т. 46; с. 48); «На гимнастикѣ хвалился (самохвальство)» (Толстой. Т. 46; 48); «Въ гимнастикѣ *тщеславіе*» (Толстой. Т. 46; с. 49). Однако подобным образом в раннем дневнике Толстой следит за тем, как читает и пишет, ведет себя в обществе, играет, общается и т. д.: «Съ Михалковымъ трусость, желаніе выказать и неисполненіе правилъ» (Толстой. Т. 46; с. 49), «Писальъ выписки, замѣчанія и дневникъ, слишкомъ торопясь» (Толстой. Т. 46; с. 54), «Вечеромъ читальъ безъ системы, *необдуман[ность]*» (Толстой. Т. 46; с. 54). «Методология самонаблюдения», выработанная молодым Толстым, поначалу связывает всё воедино. К гимнастике он подходит с той же меркой, что и к любой другой деятельности. Только решительный пересмотр взглядов, в рамках которого сформировалась толстовская концепция труда, меняет это положение: постепенно Толстой всё больше сопрягает различные моральные отклонения с отсутствием физической усталости от работы, а саму гимнастику уже старается не упоминать, хотя не перестает ее практиковать.

В обновленной гимнастике на основе анализа мускульной механики утверждается зависимость здоровья тела и духа от оптимального развития мышц. Судя по всему, подобное восприятие тела было сообразно тому восприятию человека в целом, которое раскрывается в ранних дневниках Толстого. Идея «всестороннего развития всего существующего», овладевшая им на первых порах, провоцирует стремление к упорядочиванию жизни, необходимому для движения, к наблюдению за саморазвитием. Мышечная работа является для него одним из компонентов, необходимым для преодоления «разврата души», являющегося следствием отклонения от общего порядка жизни. В этой комплексной работе над собой также нет необходимости присутствия посторонних, в том числе врача, нужна только бумага, позволяющая формулировать программы и правила, а затем фиксировать результаты, анализировать собственную «внутреннюю

механику»¹⁶. В ней (работе) также можно найти спасение от «развращающего» влияния среды и принятого в ней образа жизни.

Изучая дневники Толстого 1860-х гг., Биbihин фиксирует наблюдение, которое свидетельствует о некотором отходе от этой логики: «В заботе о гигиене, диете, гимнастике Толстой угадывает старание умереть» [Биbihин, 2024, с. 94]. Прослеживая толстовский эксперимент с диетой, он отмечает, что стремление к упорядочиванию, в конце концов, не приводит к решению проблем. Регламентация, правила не совместимы с «живой жизнью». Потому Толстой в этом стремлении периодически замечает «старание умереть». И именно тело отрезвляет, выводит из тех ловушек, в которые заводит разум, не желая ему подчиняться.

В это время в писательской среде особый интерес к гимнастике имеет не только Толстой, но и Н. Г. Чернышевский. Его облик не производил подобного толстовскому впечатления на современников. В дневниках Чернышевского никаких упоминаний о занятиях гимнастикой нет. Впрочем, судя по его художественным, философским и публицистическим произведениям, вопросам здоровья и физического воспитания он все же уделял внимание, хотя и рассматривал их больше в социальном плане. Об этом пишет, в частности, Л. В. Абдульманова в статье «Развитие представлений о физическом воспитании в русской философско-педагогической мысли (исторический аспект)» (2005): «В связи с революционно-демократическими взглядами Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов видели цель физического развития, укрепления здоровья в том, чтобы сильный телом и духом человек мог исполнить свой долг перед страдающим народом» [Абдульманова, 2005, с. 83].

Впервые само слово «гимнастика» появляется в критической статье 1854 г., написанной Чернышевским в связи с публикацией нового перевода трактата Аристотеля «О поэзии» («Поэтика»), сделанного Борисом Ивановичем

¹⁶ Неслучайно уже в известной критической статье «Детство и отрочество. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого» (1856) Н. Г. Чернышевского появляется аналогия между тем, как пишет Толстой, и анатомией.

Ордынским. Эта работа критика и философа тесно связана со знаменитой диссертацией «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855). В статье Чернышевский развивает свои представления об эстетике, сталкивая взгляды Аристотеля и Платона на искусство: «Чтоб показать, какой интерес и в наши времена еще имеют эстетические понятия этих людей, живших до нас за 2 200 лет, попробуем изложить в кратком очерке самые общие, самые отвлеченные вопросы их эстетики: “об источнике и значении искусства”. Конечно, в современной теории решение этих вопросов представляет гораздо более живого и интересного но... кто, по вашему мнению, выше: Пушкин или Гоголь? Я вчера слышал спор об этом, и на него готовы отвечать Платон и Аристотель» [Чернышевский, т. 2, с. 267].

Чернышевскому близки взгляды Платона, которого, по его мнению, многие современники ложно считают «греческим романтиком». Он отмечает, что Платон, возводя в идеал человека-гражданина, обязанного содействовать «материальному и нравственному благосостоянию своих сограждан», с презрением относится к искусствам подражательным («изящным») (музыка, живопись, поэзия) и с уважением – к искусствам производительным («практическим»): «Сюда принадлежат, например, земледелие, ремесла, гимнастика, дающая человеку силы, и медицина, дающая ему здоровье» [Там же, с. 269]. Главный критерий в этом разграничении – польза, с этим Чернышевский полностью солидарен. Искусство должно служить человеку, чему гимнастика полностью соответствует.

Казалось бы, совершенно косвенное упоминание, но уже в нем заметно расхождение взглядов Толстого и Чернышевского в 1850-е гг. на эту телесную практику. Разница в характере «полезности»: первый считает, что польза гимнастических упражнений заключается в содействии порядку душевной и телесной жизни, в защите от вредного влияния общества, второй, пусть не прямо, сходясь в рассуждениях с Платоном, усматривает их благое влияние на человека как гражданина.

В 1856 г. в Москве выходит перевод уже упоминавшегося пособия «Врачебно-комнатная гимнастика...» доктора Шребера. Чернышевский пишет на

нее короткую, но довольно едкую рецензию. Начинает он ее так: «Если следовать совету почтенного доктора, издавшего свою книжечку в Лейпциге и ныне переведенную на русский язык, то придется с раннего утра до поздней ночи поднимать руки в сторону, кружить ногами, поворачивать туловище, приседать, махать руками и, кроме этого, ничего больше не делать» [Там же, т. 3, с. 509]. Чрезмерное внимание к мускульной механике осмысляется Чернышевским сатирически. Необходимость «пополнить некоторую сумму общего движения» как самоцель не принесет пользы. Если следовать рекомендациям и наставлениям Шребера, не щадящим ни детей, ни женщин, ни «седовласой старости», то не останется времени даже для принятия пищи, не говоря уж о каких-либо серьезных занятиях, считает критик. При этом нужно подчеркнуть, что некоторые преподаватели гимнастики считали необходимым посредством упражнений формировать человека, способного отстаивать государственные интересы. Однако для гимнастического дискурса в России 1850-х гг., судя по всему, эта идея была незначительной.

В рецепции Чернышевского «гимнастика для гигиены» почти как «искусство для искусства» – не имеет никакого смысла, представляет собой некую навязчивую идею. Пожалуй, узнай он о толстовском стремлении способствовать «всестороннему развитию всего существующего», реакция была бы аналогичной.

В романе «Что делать?» (1863) Рахметов на половине семнадцатого года жизни усердно начинает заниматься гимнастикой. Но для него она становится занятием лишь «совершенствующим материал», тогда как этот самый материал намного важнее накопить: «... вдвое большее занятий гимнастикою, на несколько часов в день он становится чернорабочим по работам, требующим силы: возил воду, таскал дрова, рубил дрова, пилил лес, тесал камни, копал землю, ковал железо; много работ он проходил и часто менял их, потому что от каждой новой работы, с каждой переменой получают новое развитие какие-нибудь мускулы» [Там же, т. 11, с. 200]. Примечательно, что силу, «материал», он получает именно

в результате освоения какой-либо общественно-полезной трудовой деятельности. Гимнастика лишь корректирует, только в такой функции признается ее польза.

По воспоминаниям Фета, Николай Толстой говорил о брате, что он хочет «все захватить разом». И это очень точное замечание относительно натуры Льва Николаевича. Барин, с налитым кровью лицом висящий на жерди вниз головой и одновременно дающий приказания по хозяйству, вызывает недоумение старосты. Для Толстого же эта ситуация совершенно не противоречивая. Осмыслив цель жизни, он стремится связать ей все вокруг и себя самого. И чтобы прийти к порядку мысли, нужно побороть хаос страстей и пороков. Гимнастика для него один из способов самоконтроля. Толстой подходит к ней как практик. Чернышевский, в свою очередь, внутренней необходимости в гимнастических упражнениях не чувствует. Гимнастика может быть полезна. Но для светского человека она становится очередной подменой серьезной, осмысленной деятельности.

Однако все же Толстой движется в сторону Чернышевского, когда формулирует концепцию труда. Тело, «животная личность» человека – это «лопата», которую нужно тратить в работе. Мускульная механика, физическое движение больше не являются сколько-нибудь значительными для общего порядка жизни: «Как бы ни были сильны и быстры движения человека в бреду, в сумасшествии или в агонии, в пьянстве, в порыве страсти даже, мы не признаем человека живым, не относимся к нему, как к живому человеку, и признаем в нем только возможность жизни. Но как бы слаб и неподвижен ни был человек, – если мы видим, что животная личность его подчинена разуму, то мы признаем его живым и так и относимся к нему» (Толстой. Т. 26; с. 360). Перефразируя Ювенала, можно сказать, что толстовский идеал гармонии здорового (упорядоченного) тела и разума лишается первого компонента. Тело, мыслившееся в своем особом порядке, выражающемся в комплексе упражнений, должно подчиниться порядку мысли, разграничивающему степень важности: «Безумная же деятельность состоит в рассуждениях без этого порядка» (Толстой. Т. 26; с. 314). Нужно отметить, что на этот сдвиг толстовских представлений

значительное влияние оказывает работа над изучением и новым переводом четырех Евангелий.

Тело в христианстве занимает центральное место. Ж. Желис отмечает: «Тело является местом и одновременно смыслом и целью религиозного опыта» [Желис, 2018, с. 14]. С одной стороны, измученное, жертвенное тело Христа, восторжествовавшее во время воскресения. С другой стороны, тело грешника и связанные с ним искушения, одолевающие с момента грехопадения. Тело для христианина одновременно враг и средство борьбы, в которой важно знать меру: «Таким образом, мистик всегда балансирует на грани. На самом деле желание страдать как можно сильнее и дольше, чтобы как можно ближе уподобиться образцу – распятому Иисусу, – заставляет его отвергать окончательное саморазрушение. <...> Ибо если безудержно предаваться изнурительным телесным упражнениям, это может стать препятствием для упражнений духовных» [Там же, с. 44].

Толстой, как известно, по-своему понимает учение, изложенное в Евангелиях. Так, так его критический взгляд пристально изучает христианский догмат о воскресении. Толстой убежден в том, что сам Христос отрицает «плотское», «личное» воскресение. В каждом человеке, с его точки зрения, идет постоянная борьба между животным и разумным началом, составляющая смысл жизни. Человек благодаря разуму стремится к истине, преодолевающей животную личность. Тело, прежде всего, инструмент.

Размышляя над притчей о виноградарях, Толстой подчеркивает: человек в этом мире всего лишь работник, чья задача поддерживать не свою личную жизнь, а общую. Страдание в рамках этой логики – явный сигнал верного пути: «Они должны понимать, что всяким часом своей жизни, во время которой они не прекращают этой жизни, они утверждают это обязательство, и что потому *человек, живущий для себя* и отрицающий это обязательство, связывающее его с жизнью и началом ее, сам лишает себя жизни, должен понимать, что, живя так, он, *желая сохранить свою жизнь, губит ее*, – то самое, что много раз повторяет Христос» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 23; с. 390). Тело встраивается в

порядок общего как орудие. Болезни и страдания помогают ясно это осознать, а значит – борьба с ними противоречит истине.

Глава 2. Война и медицина в «Севастопольских рассказах»

2.1. Лев Толстой и Николай Пирогов в Севастополе

1 ноября 1854 г. Толстой подает прошение о переводе в Крым, мотивируя в письме к брату Сергею свой поступок, в частности, желанием «видеть эту войну», а также патриотическими чувствами: «Изъ Кишинева 1-го Ноября я просился въ Крымъ, отчасти для того, чтобы видѣть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться изъ Штаба Сержпутовскаго, который мнѣ не нравился, а больше всего изъ патріотизма, который въ то время, признаюсь, сильно нашель на меня» (Толстой. Т. 59; с. 321). По сути, это стремление увидеть войну, как она есть, со всеми ее ужасами, с многочисленными «страдальцами», соединенное с ощущением небывалого со времен Древней Греции «геройства»¹⁷, лежит в основе «Севастопольских рассказов».

Безусловно, специфика толстовских текстов радикально не меняется. В цикле рассказов («статей») об обороне Севастополя продолжают все основные тенденции, намеченные еще в произведениях о Кавказе. Толстой по-прежнему стремится писать, демонстрируя уход от литературной традиции, прежде всего романтической. Эйхенбаум, анализируя его ранние произведения, справедливо утверждает: «В этом контрастном сопоставлении скрыт типичный Толстовский парадокс, остраняющий традиционное “литературное” представление о смерти – особенно о смерти героической. Толстой как бы говорит то же, что он говорил о

¹⁷«Духъ въ войскахъ свѣше всякаго описанія. Въ времена древней Греціи не было столько геройства. Корниловъ, объѣзжая войска вмѣсто: “здорово ребята!”, говорилъ: “нужно умирать, ребята, умрете?” и войска кричали: “умремъ, В[аше] П[ревосходительство.], Ура!” И это было не эффектъ, а на лицѣ каждаго видно было, что не шутя, а *взаправду*, и ужъ 22000 исполнили это обѣщаніе» (Толстой. Т. 59; с. 281), «Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю,— о временах, когда этот герой, достойный древней Греции,— Корнилов, объезжая войска, говорил: “Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя”, — и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: “Умрем! ура!” — только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом» (Толстой. Т. 4; с. 16).

Кавказе: люди умирают совсем не так, как принято об этом писать. Не такова природа, как ее изображают, не такова война, не таков Кавказ, не так выражается храбрость, не так люди любят, не так живут и думают, не так, наконец, умирают – вот общий источник всей Толстовской системы» [Эйхенбаум, 1922, с. 130]. Всё не так, как об этом пишут: Толстой действительно строит свой метод на основе разрушения предыдущей литературной традиции. Он отмечает, что герой его произведения «Севастополь в мае» (1855) – правда: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда» (Толстой. Т. 4; с. 59). Правда «прекрасна», несмотря на натуралистичные картины войны и далеко не всегда возвышенные движения души защитников Севастополя.

Вместе с тем, стоит отметить, что в «Севастопольских рассказах» роль медицинского дискурса кратно возрастает. Это видно даже по тому объему текста, который занимают сцены страдания раненых, а также сцены работы врачей и сестер милосердия в перевязочных пунктах. Отчасти это обусловлено бурным развитием военно-полевой хирургии, основоположником которой стал знаменитый врач, анатом и педагог – Н. И. Пирогов.

Основной недостаток в работе с ранеными во время сражений он видел в плохой организации эвакуации их с поля боя и последующей сортировке, зависящей от характера ранения. Нужно было создать систему, позволяющую быстро оказывать помощь, а потому его внимание во многом обращено к администрации: «От администрации, а не от медицины зависит и то – чтобы всем раненым, без изъятия и как можно скорее, была подана первая помощь, не терпящая отлагательства» [Пирогов, 1941, с. 22]. Для лучшей организации помощи Пирогов также предлагает разделить задачи между врачами: одни занимаются исключительно сортировкой, для чего, к слову, требуется большой опыт, другие – оперируют. Кроме того, в этих же целях по его инициативе была организована деятельность сестер милосердия Крестовоздвиженской общины.

В то же время хирург большое внимание уделял описанию патологических процессов и явлений. Академик Н. Н. Бурденко среди заслуг Пирогова выделял

следующую: «Главная заслуга Пирогова перед медициной вообще и перед военно-полевой хирургией, в частности, состоит в создании его учения о травмах и об общей реакции организма на травмы, о местной очаговой реакции на травмы, в учении о ранениях, об их течении и осложнениях, далее, в учении о различных видах огнестрельных ранений с незначительным повреждением окружающих тканей, о ранениях, осложненных повреждением костей, сосудов, нервов, о лечении ранений, в его учении о повязках при ранениях мягких частей, при чистых и инфицированных ранах, в учении о неподвижных гипсовых повязках, в учении о полостных ранениях» [Бурденко, 1941, с. XV–XVI]. Многие наблюдения Пирогова оказались ценными для врачей последующих поколений. Так, тот же Бурденко уже в 1941 г. отмечал полноту и точность его клинического описания травматического шока: «Замечательно, что его клинические описания настолько полны, настолько ярки и точны, что каждый из нас, хирургов, хотя бы и наблюдавший сотни случаев шока, затруднится что-либо прибавить к описанной Пироговым клинической картине» [Там же, с. 17].

В. Порудоминский в книге «Если буду жив, или Лев Толстой в пространстве медицины» указывает на некоторые биографические пересечения молодого писателя и знаменитого хирурга [Порудоминский, 2012, с. 143–145]. Толстой и Пирогов прибывают в Севастополь с разницей в несколько дней: первый 7 ноября (Толстой. Т. 47; с. 30), второй – 12 [Пирогов, 2011, с. 22]. О Пирогове в принципе сложно было не знать, так, например, Н. А. Некрасов в августовской книжке «Современника» 1855 г. вдохновенно пишет: «Выписываем эти слова, чтобы присоединить к ним наше удивление к благородной, самоотверженной и столь благотворительной деятельности г. Пирогова, – деятельности, которая составит одну из прекраснейших страниц в истории настоящих событий» [Некрасов, 1990, с. 159]. Или же в одном из писем военного корреспондента Н. В. Берга М. П. Погодину, опубликованном в июне того же года в «Москвитянине», есть такие строки: «Къ-сожаленію я не видалъ ни одной операціи Пирогова. Трудно было попасть. Онъ оперировалъ въ разное время, увлекаясь вдохновеніемъ или взбешенный неловкостью хирурга, который приступилъ къ операціи. Впрочемъ,

говорять, *поэзія его операцій* понятна только для хирурга – эта чистота и верность разрезовъ» (курсив наш. – В.М.) [Берг, 1855, с. 51]. Деятельность Пирогова столь значительна, что Некрасов пророчит ему небывалую популярность в будущем, соответствующую его подвигу, а Берг, по сути, отмечает ее в настоящем: хирург собирает большую публику, стремящуюся проникнуться «поэзией операций».

Конечно, сам Пирогов никогда не лечил Толстого. Однако последнему ещё за несколько месяцев до перевода в Севастополь довелось на себе испытать действие хлороформа: «Іюня 30. Сегодня мнѣ сдѣлали операцію съ клороформомъ – я былъ малодушенъ. Ничего не дѣлалъ отъ невозможности. Есть надежда выздороветь» (Толстой. Т. 47; с. 5). Практику проведения операций с использованием этого анестетика в русской армии ввел именно Пирогов. Жаль, что Толстой оставил столь скупые и вполне предсказуемые записи о своих впечатлениях, по которым невозможно определить отношение писателя к этому новшеству в области военной медицины¹⁸.

Толстой точно знал Пирогова¹⁹, а уже гораздо позже Крымской войны читал его дневники, о чем есть свидетельство Д. П. Маковицкого: «Пирогова части (дневника) читал. Я его знал. В Севастополе он читал лекции по анатомии врачам. Долгорукий – один из 300 назначенных Николаем Павловичем изучать медицину – облокотился на мышку трупа, чтобы меня удивить. Пирогов – умное лицо – секцировал труп и показывал операцию, которую врачам приходилось делать.

¹⁸ Вообще широкое применение анестезии существенно влияло на взаимоотношения между врачом и пациентом и меняло их отношение к самой операции. Пирогов в «Отчете о путешествии по Кавказу» (1849) отмечал: «Самый утѣшительный результатъ эѳированія былъ тотъ, что операціи, производимыя нами, въ присутствіи другихъ раненыхъ, ни сколько ни устрашали, а напротивъ того, успокаивали ихъ въ собственной участи, и всѣ раненые, исключая одного (который потому и не былъ оперированъ), сажались почти всегда спокойными и безъ всякихъ возраженій, одинъ за другимъ, для производства надъ ними самыхъ болѣзненныхъ операцій, каковы: отняніе членовъ, и вырѣзываніе пульъ, засѣвшихъ въ глубокихъ частяхъ» [Пирогов, 1849, с. 23].

¹⁹ Профессор Е. Б. Меве в статье «Болезнь человека и врач в творческом отображении Л. Н. Толстого» (1978), опираясь на труды биографов Пирогова, отмечает, что начинающий писатель не затерялся среди других военных: «Биографы Н. И. Пирогова пишут, что великий русский хирург встречал Толстого в госпиталях и перевязочных пунктах Севастополя и был знаком с ним. Прочитав “Севастопольские рассказы”, Пирогов сказал, что Толстой посвятил героическим сестрам милосердия только одну фразу, но разглядел что-то серьезное, важное...» [Меве, 1978, с. 138].

Пирогов много доброго сделал. – Л. Н. говорил о Пирогове с симпатией и уважением» [Маковицкий, кн. 2, с. 134–135]. Как отмечает Порудоминский, судя по этому воспоминанию, можно уверенно предположить, что Толстой лично присутствовал на лекциях и операциях Пирогова²⁰.

О. Матич в книге «Эротическая утопия: новое религиозное сознание и *fin de siècle* в России» (2005) без типологического сопоставления медицинской деятельности Пирогова с литературным методом Толстого, но отталкиваясь от формалистского взгляда на его творчество, развивает концепцию, в рамках которой толстовское письмо рассматривается как «литературное анатомирование» и «литературная вивисекция». Литературовед утверждает, что писатель, оставляя некоторые области недоступными для расчленения и изучения (например, природу в целом), в принципе критикуя такой позитивистский подход, сам увлекался в своих произведениях «анатомированием» как психологических, моральных процессов, так и тела человека. В частности, для подтверждения этого тезиса исследователь анализирует отрывки из «Севастополя в декабре месяце», подчеркивая не только специфику изображаемого (нарушенная целостность тел), но и увлеченность им повествователя: «Функция медицины в этом госпитале – не восстанавливать единство тела, а расчленять его, как война разрушает органический смысл жизни. Холодный, методичный голос повествователя – это голос морализирующего вивисектора, чей эксперимент над литературой риторически расчленяет тело, чтобы заявить свой нравственный тезис об ужасе расчленяющей стороны войны. Однако за нравственным пафосом стоит увлечение самим процессом» [Матич, 2008, с. 43–44]. В риторическом расчленении тела повествователь совмещает морализаторский пафос и увлеченность процессом.

Напрашивающееся сопоставление толстовского письма и представлений Пирогова об анатомии и хирургии воплотилось в статье И. Калинина «Севастополь в августе 1855» (2012). Историк отмечает, что Крымская война

²⁰ «Значит, не только ходил, но и лекции слушал вместе с назначенным царем изучать медицину, и операции смотрел» [Порудоминский, 2012, с. 145].

стала «первой мировой войной новой империалистической эпохи». С одной стороны, она утратила идеологический заряд наполеоновских войн. Но с другой – многое приобрела в техническом и административно планах: «Именно тогда были впервые применены многие принципиальные для будущего технические достижения и практики управления (переход от гладкоствольного оружия к нарезному и, соответственно, переход к новому боевому порядку – стрелковой цепи; окончательный отказ от деревянного парусного флота в пользу парового и броненосного; зарождение форм позиционной войны; развитие военно-полевой медицины: с обеих сторон впервые в истории войн были задействованы сестры милосердия, Флоренс Найтингейл заложила основы современной санитарии и сумела на порядок снизить смертность в британских госпиталях, Николай Пирогов значительно усовершенствовал хирургическую практику ампутации конечностей и впервые применил гипсовую повязку; тогда же впервые на войне были применены телеграф и фотография)» [Калинин, 2012, с. 39]. Всем этим новшествами, что особенно любопытно, соответствовали новые способы репрезентации военного опыта. Одним из них, с точки зрения ученого, наряду с фотографией стала поэтика Толстого.

Борьбой с романтическими шаблонами Толстой стремится оживить восприятие, приблизив литературу к «жизни», показав не столько сами переживания, сколько процесс их причудливого движения в душе героев. С точки зрения Калинина, в этой борьбе против «рецептивной анестезии» писатель совмещает фотографизм и обращение к хирургии: «Литературное письмо Толстого – противопоставляющее документальный фотографизм живописному канону романтизма и обращающееся к хирургии как к способу аналитического проникновения вглубь вещей – стремится к тому, чтобы сделать свой предмет зримым, ранящим восприятие читателя, остраивающим традицию и саму героическую репутацию войны. Насилие взгляда и письма выступает здесь как своеобразное противоядие против той рецептивной анестезии, которая делает безболезненным привычно опосредованное восприятие того насилия, которое связано с войной» [Там же, с. 67]. При этом историк слово «хирургия» понимает

расширительно, не связывая его исключительно с телом. Это способ познания, позволяющий обнажить конструкцию, увидеть ее элементы, а также их морфологическую связь. Такое толкование позволяет ученому рассматривать поэтику Толстого, медицинскую деятельность Пирогова, формальный метод как явления одного порядка, стремящиеся к проникновению внутрь и, одновременно, ревитализации.

Обратим внимание, что именно в военно-полевой хирургии Калинин обнаруживает «эпистемологические истоки» этих явлений: «Эпистемологические истоки этой модели – и в случае Толстого с его критикой стершегося литературного канона, и в случае формалистов с их ревитализирующим исследовательским вторжением в текст, возвращающим восприятие его заезженной историей конструкции, – можно обнаружить в практике жестокой, но действенной военно-полевой хирургии, разработанной известным русским хирургом и одним из основателей топографической анатомии Николаем Пироговым (1810–1881), с которым Толстой познакомился во время осады Севастополя» [Там же, с. 53–54]. Несмотря на то, что исследователь убедительно доказывает сходство толстовского письма, формального метода в литературоведении и хирургической практики Пирогова²¹, с этим тезисом вряд ли можно согласиться.

Толстовская методология самонаблюдения начинается ещё с дневника 1847 г. Толстой в это время хотя и интересуется медициной, но это больше от любопытства: здесь отсутствует сколько-нибудь системный подход. В эпистемологическом плане он больше ориентируется на философскую и литературную традицию XVIII в. Даже пребывание в клинике Казанского университета воспринимается им совершенно отвлеченно от каких-либо актуальных на то время медицинских теорий. Получается, скорее, причудливое наложение впечатления от военно-полевой хирургии на уже во многом сформированный художественный метод.

²¹ Интересны, например, его рассуждения об использовании гипсовой повязки, не скрывающей конструкцию тела, а напротив – обнажающей ее.

Еще в рецензии Чернышевского «Детство и отрочество. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого» (1856) появляется аналогия между толстовской диалектикой души – основной силой его таланта – и анатомированием: «Психологический анализ есть едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту. Но обыкновенно он имеет, если можно так выразиться, описательный характер, – берет определенное, неподвижное чувство и разлагает его на составные части, – дает нам, если так можно выразиться, анатомическую таблицу» [Чернышевский, т. 3, с. 425]. Кроме того, критик предсказывает содержание дневников Толстого, предполагая, что талант начинающего писателя обретает силу благодаря «самоуглублению» и самонаблюдению. Но в то же время Чернышевский отмечает, что Толстой прибегает к «анатомированию» лишь в тех случаях, когда это соответствует замыслу произведения: «Однажды написав “Метель”, которая вся состоит из ряда подобных внутренних сцен, он в другой раз написал “Записки маркера”, в которых нет ни одной такой сцены, потому что их не требовалось по идее рассказа. Выражаясь фигуральным языком, он умеет играть не одной этой струной, может играть или не играть на ней, но самая способность играть на ней придает уже его таланту особенность, которая видна во всем постоянно» [Там же]. Не в полной мере соглашаясь с этим высказыванием, отметим, что Толстой «анатомирует» избирательно: в каких-то произведениях эта черта выпячивается, а в каких-то нет.

В предыдущей главе, прослеживая толстовскую «логику порядка», мы отмечали ряд отклонений от неё. В частности, это касается «Набега» и «Казачков», в которых целостность не поддается механическому восстановлению. Казаки презирают докторов за ампутацию конечностей: для них неприемлем сам подход, в рамках которого ради сохранения целостности нужно лишиться части, став «недочеловеком». Оленин, непрестанно анализирующий свою жизнь, мысленно разлагающий ее и собирающий вновь, не может механически вписать себя в мир природы. Осознание конструкции противоречит ощущению «живой жизни».

Толстой к этой мысли периодически возвращается на протяжении всего творческого пути, что замечательно выявил Бибихин.

Богданов в книге «Врачи, пациенты, читатели: патографические тексты русской культуры» справедливо отмечает: «В середине века идеологическая программа реалистической эстетики тем более не допускает сомнений – литература призвана “анатомировать” действительность – а значит, и смерть – таковой, какова она есть. Изображая болезнь или смерть, реалист подчеркивает то, что это неэстетично, но зато правдиво» [Богданов, 2017, с. 260]. Немаловажную роль в сближении литературы и патологоанатомии, во внедрении литературного «анатомирования» в рамках русского реализма Пирогов все же сыграл [Там же, с. 264–268]. Его методика «ледяной» анатомии позволила с высокой для того времени точностью дать представление о строении тела, не измененного посмертными процессами. Кроме того, с особой тщательностью ученый подошел к вопросу передачи полученной информации: к распилам прилагалось стекло, разделенное на небольшие квадраты, затем эти участки переносились на бумагу, расчерченную аналогично. Еще один способ изучения замороженного тела Пирогов назвал «скульптурным»: для большей точности в определении расположения внутренних органов, их нужно было обособить, используя молоток и долото ²². Атомические труды знаменитого хирурга, безусловно, оказали большое влияние на развитие научной мысли. Однако они же в значительной мере способствовали изменению взгляда на тело. В этом отношении крайне показательна анонимная рецензия, опубликованная в №4 журнала «Библиотека для чтения» за 1844 г., явившаяся реакцией на начало публикации Пироговым «Полного курса прикладной анатомии человеческого тела» (1843–1845).

²²Любопытно, что, поясняя этот метод, Пирогов приводит в качестве аналогии работу археолога в Геркулане, отделяющего застывшую лаву от «остатков древности». С одной стороны, ученый подчеркивает главную цель анатома, заключающуюся в стремлении передать истинное представление об устройстве тела, а с другой – в этическом плане дистанцируется от объекта исследования.

Для наглядности приведем здесь довольно большой отрывок из этой статьи, представляющий собой своеобразное вступление:

Великолѣпнѣйшее и самое замѣчательное въ русской медицинской литературѣ твореніе, плодъ долголѣтнихъ трудовъ геніальнаго человѣка, изданіе, приносящее истинную честь патріотическому усердію перваго изъ нашихъ книгопродавцевъ, должны найти себѣ мѣсто въ этомъ журналѣ, несмотря на кажущуюся неприступность предмету Мы смѣло говоримъ – «кажущуюся»: это обще принятое мнѣніе о неприступности анатомическихъ разборовъ человѣческаго тѣла для свѣтскаго читателя основано единственно на остаткахъ стариннаго предубѣжденія толпы противъ вскрыванія мертвыхъ; въ сущности – все здѣсь одушевлено занимательностью истинно романическою, все приводитъ въ восхищеніе умъ, расположенный къ любознанію, все просто, ясно привлекательно для самаго обыкновеннаго вниманія. Разсматриваніе внутренняго устройства нашего тѣла возноситъ насъ выше самихъ себя и составляетъ источникъ высокаго удовольствія души: проникая взоромъ въ этотъ удивительный механизмъ, на который исчерпаны всѣ средства земной природы, человѣкъ чувствуетъ себя благороднѣе, убѣждается въ выпренности своего назначенія и, съ искреннею, просвѣщенною вѣрою, предается волѣ благаго Провидѣнія, которое такъ мудро, такъ внимательно расположило въ немъ все для его дѣятельности, могущества, наслажденія и счастія. Нельзя безъ глубокаго восторгу смотрѣть на это изумительное произведеніе божественной механики, на это неподобное сплетеніе тысячи рычаговъ, пружинъ, привязей, подпорокъ, трубокъ, сосудовъ, каналовъ, теченій, дѣйствующихъ за-одно съ математическою вѣрностью на всемъ пространствѣ. Чудное зрѣлище получаетъ еще бѣольшую степень занимательности, когда умный ножъ Пирогова срѣзываетъ ихъ постепенно слоями въ прекрасномъ рисункѣ, на отлично отгнѣненныхъ и раскрашенныхъ таблицахъ, и, какъ-будто приподнявъ занавѣсъ, ясно, осязательно обнаруживаетъ ихъ взаимныя отношенія, порядокъ, цѣль и пользу, въ каждомъ отдѣльномъ членѣ. Надобно только слѣдовать за нимъ и смотрѣть [Рецензия на книгу..., 1844, с. 37–38].

Как видно из текста, на момент 1844 г. для взгляда «светского читателя» тело представляется непроницаемой границей, которая поддерживается «предубеждением» против вскрытия трупов. За этой границей находится область таинственного, но никак не четкая механика. Цель статьи заключается не столько в обсуждении анатомических изысканий, представленных Пироговым, сколько в призыве читателя, далекого от медицины, «следовать» за анатомом и «смотреть»

его глазами. Взгляд внутрь телесного устройства не должен вызывать ужас: «умный нож» хирурга приоткрывает прекрасную истину, занимательную и привлекательную «божественную механику». Это ещё не антиэстетичная истина реалистического описания болезни и смерти, но прелюдия к ней.

В романе И. А. Герцена «Кто виноват?» (1846), можно наблюдать такое «предубеждение» губернской аристократки к работе врача, имеющего дело с трупами: «Я уважаю Семена Ивановича; но может ли человек понять сердце женщины, может ли понять нежные чувства души, когда он мог смотреть на мертвые тела и, может быть, касался до них рукою?» [Герцен, 1955, с. 72]. Этот вопрос о совмещении «прекрасного» и обнаженной отталкивающей структуры легко переадресуется писателям, практикующим «литературное» анатомирование. При этом «методология самонаблюдения» Толстого, совпадая с этой тенденцией в литературе, имеет другие корни.

2.2. Доктора и сестры милосердия в «Севастопольских рассказах»

Среди характеристик врачей, встречающихся на страницах произведений Толстого, не так уж просто отыскать такие, которые можно было бы охарактеризовать как хоть сколько-нибудь положительные. Исследователи, стремящиеся преодолеть однозначные трактовки такой особенности толстовских текстов, прежде всего, указывают на сложное отношение писателя к «служителям панацеи» в жизни. Доктора сопровождают Толстого почти на всем протяжении его жизненного пути, с кем-то он полемизирует, а кому-то активно помогает в научно-просветительской деятельности. Э. Конюс, например, в небольшой, но важной работе «Лев Толстой и пропаганда медицинских знаний» отмечает: «Медицина, вызывающая осуждение Толстого, это главным образом медицина, невидящая в больном живого человека, подменяющая знакомство с условиями жизни больного, вызвавшими болезнь, изолированным лечением отдельных органов, построенном на куче механически соединенных лабораторных анализов» [Конюс, 1940, с. 16]. Толстой, как справедливо подчеркивает исследователь, имеет свой особый взгляд на медицинскую науку и на деятельность докторов,

который в чем-то сходится со взглядами С. П. Боткина, Г. А. Захарьина, А. А. Остроумова, но вовсе не предполагает отрицания ни самой медицины, ни врачей.

Все эти особенности толстовского восприятия медицины и врачей известны по большей части из его публицистических и философских трудов, из дневниковых записей и переписки, наконец, из воспоминаний современников. В художественных произведениях Толстого все будто бы однозначно. Однако при внимательном прочтении «Севастопольских рассказов» нетрудно обнаружить характеристику деятельности врачей, не совпадающую ни с нейтральной в «Набеге», ни с явно негативной в «Казаках».

Профессор Меве, рассматривая «страшную картину перевязочного пункта», подчеркивает: «В этом аду молодой Толстой сумел разглядеть докторов “с бледными сосредоточенными лицами, докторов, которые оперируют, стоя на коленях перед носилками”. Он писал, что “доктора с окровавленными по локти руками... заняты отвратительным, но благородным делом”. Толстой видел самоотверженную работу военных врачей в Севастополе, знал, что Н. И. Пирогов впервые в истории войн привел на передовую линию медицинских сестер, отважных русских женщин, ставших героинями Севастопольской обороны» [Меве, 1978, с. 138]. В подобном ключе рассуждает Порудоминский, характеризуя здание бывшего Дворянского Соборания как «место подвига»: «Но и сам перевязочный пункт под пером Толстого – тот же бастион, место подвига. Здесь героически действуют, сражаются за жизнь раненых бойцов военные медики – врачи и сестры» [Порудоминский, 2012, с. 140]. И действительно, во всех трех рассказах перевязочный пункт – место, в котором происходит нечто значительное, что-то сопоставимое по важности с событиями на бастионах. Шокирующие картины страданий в «Севастополе в декабре месяце» повествователь завершает так: «Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости

пойдете на бастионы...» (Толстой. Т. 4; с. 9). Это место, где сторонний человек, в отличие от докторов, «страдальцев» и медицинских сестер, не может находиться долго, наблюдая увечные тела, чувствуя их запах, всматриваясь в лица раненых, слыша их стоны: нужно скорее вырваться, осознав собственное здоровье и, одновременно, ничтожество. Между тем, стоит отметить, что сознание медицинских работников остается по-прежнему вне внимания повествователя, в связи с чем возникает вопрос об их роли.

Уже в первом рассказе доктор вписан в утренний пейзаж Северной стороны Большой Севастопольской бухты: лучи солнца еще не пали на землю и воду, сменились часовые, солдатик вылез из землянки, маджара с покойниками движется в сторону кладбища, а врач спешит в госпиталь. Те страдания увечных людей, на которые случайный посетитель перевязочного пункта не может долго смотреть²³, для него являются каждодневным условием работы.

Следующая встреча читателя с докторами происходит в то время, когда они заняты своим основным делом – проведением ампутаций: *«Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой*

²³В первом рассказе – это читатель, которого повествователь призывает пройти по «дому страданий»: «Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, – это дурное чувство, – идите вперед...» (Толстой. Т. 4; с. 6). Во втором – князь Гальцин, который не способен смотреть на чужие муки: «С трудом пробившись на крыльцо между пешком шедшими ранеными и носильщиками, входившими с ранеными и выходившими с мертвыми, Гальцин вошел в первую комнату, *взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 4; с. 37). В третьем – Володя Козельцов, который становится обездвиженным при виде раненых: «– Пойдем же... что ты смотришь! – сказал Козельцов *Володе, который, подняв брови, с каким-то страдальческим выражением, не мог оторваться – смотрел на раненых.* – Пойдем же» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 4; с. 83).

раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, – увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти...» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 4; с. 8–9). Врачи в «Севастопольских рассказах» совсем не похожи на доктора в «Набеге»: нет шутивого тона, нет «одобрительной улыбки» на лице, есть окровавленные по локоть руки, есть бледные и усталые лица.

Перемена разительная. Врач перестал быть «лишним» его дело не бессмысленное, а одновременно «отвратительное» и «благодетельное». В «Севастополе в мае» Толстой во многом повторяет заключительную сцену «Набега», только значительно меняя детали: «Доктора, с мрачными лицами и засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фельдшера держали свечи, всовывали пальцы в пульные раны, ощупывая их, и переворачивали отбитые висевшие члены, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев» (Толстой. Т. 4; с. 38). Вновь улыбка уходит с лица доктора, оно становится мрачным. И сами раненые при этом по-прежнему важны, значительны: подробно описываются моменты ранения или умирания со стороны и изнутри, акцентируется внимание на переживании ожидания смерти²⁴. Но и врачи теперь ощупывая отверстия от пуль, ампутируя конечности, занимаются чем-то серьезным, обязательным. Стоя на коленях, они должны четко выполнять свою работу с телом страдальцев.

Отдельно стоит отметить, что Толстой лишает докторов слова. Раненые же наоборот – говорят даже во время операции что-то «бессмысленное, иногда простое и трогательное», любят говорить, нуждаются в том, чтобы говорили с ними: «...несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят

²⁴ Отношения человека со смертью становятся явно сложнее. Личное переживание происходящего соединяется с какой-то иной силой, наблюдающей за происходящим как бы сверху: Праскухин думает, что только контужен – но он смертельно ранен, Михайлов уверен, что умирает – но камень после взрыва бомбы легко ранил его в голову.

рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия» (Толстой. Т. 4; с. 6). Доктора же эту потребность в сострадании не удовлетворяют. По большей части они молчат, выполняя свою работу. Так, например, в «Севастополе в августе 1855 года» врач занимается исключительно определением состояния тела Михаила Козельцова: «Маленький, толстый, с большими черными бакенбардами доктор подошел к нему и расстегнул шинель. Козельцов через подбородок смотрел на то, что делает доктор с его раной, и на лицо доктора, но боли никакой не чувствовал. *Доктор закрыл рану рубашкой, отер пальцы о полы пальто и молча, не глядя на раненого, отошел к другому.* Козельцов бессознательно следил глазами за тем, что делалось перед ним» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 4; с. 114). Вслед за доктором к Козельцову-старшему подходит священник. Он читает молитву, а затем заводит с умирающим короткий разговор, в ходе которого скрывает от него весть о поражении на Малаховом кургане: раненый встречает смерть с мыслью о брате и пожеланием ему «такого же счастья». В «Севастополе в мае» есть небольшой отрывок, в котором доктора перекидываются короткими фразами, состоящими в основном из имени и фамилии раненого и диагноза: «— Семен Нефердов, подполковник Н. пехотного полка. Вы немножко потерпите, полковник, а то этак нельзя, я брошу, — говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника» (Толстой. Т. 4; с. 38). Просьба потерпеть, вложенная в уста одного из докторов, исходит не из сострадания, а из стремления быстро и четко выполнить свою работу.

В «Севастополе в декабре месяце» повествователь ведет читателя в комнату, где проводятся ампутации – «отвратительное, но благодетельное дело». Со времен Наполеоновских войн в военно-полевой хирургии принцип первичной ампутации был одним из основных. Бурденко, рассматривая нововведения Пирогова в этой области, отмечает: «Предшественники Пирогова учение о первичной ампутации формулировали как императивное требование предупредительной операции, производимой в первые же часы после ранения. Правило гласило: “пропустив время для первичной ампутации, мы теряем более

больных, чем сохраняем рук и ног”» [Бурденко, 1940, с. XXI]. Для сохранения жизни необходимо было как можно скорее удалить пораженную конечность.

Известный новатор военно-полевой хирургии, Д. Ж. Ларрей, например, считал обязательной первичную ампутацию при осложненных огнестрельных переломах. Он же отмечал высокий процент выживаемости среди раненых после таких операций и низкий – после ампутаций, проведенных не в первые сутки после ранения (в Смоленском бою это соотношение 100% к 0%) [Там же, с. XXII]. Пирогов изначально придерживался этой точки зрения: «Я сам учил тому же. Я считал каждого раненого с сложным переломом азартным игроком, когда он не соглашался на ампутацию. То же утверждали и почти все хирурги, участвовавшие в кампании 1812–1814 гг. Я слышал от одного почтенного врача этой эпохи, что из 100 ампутированных во время сражения под стенами Парижа умер только один. Ампутации были, по этому взгляду, безопасны, огнестрельные раны, напротив, так опасны, а военные госпитали так хороши, что всякий врач должен был считать главной обязанностью скорее ампутировать» [Пирогов, 1941, с. 34]. Но, начиная с Кавказской экспедиции 1847 г., он, оставаясь убежденным сторонником проведения первичных ампутаций, начал вести собственную статистику, которая оказалась неутешительной: из 166 операций, проведенных до начала 1848 г., 72 окончились смертью [Там же, с. 50]. Кроме того, Пирогов узнал, что «туземные черкесские хирурги» (гакимы) при сложных переломах, полученных в результате пулевого ранения, не удаляют конечность, а лечат неким «наследственным» методом²⁵. И уже во время Крымской войны для него и некоторых других хирургов стало очевидно, что жизнь пациентов в меньшей степени зависит от быстро проведенной ампутации. Гораздо важнее в военно-полевой хирургии правильная организация: сортировка раненых и грамотное и равномерное распределение врачебной помощи спасает больше жизней, чем проведение операций в суматохе. И, конечно, главная задача врача заключается не в осуществлении превентивной помощи, а в устранении непосредственной

²⁵Любопытное пересечение с «Кзаками» Толстого.

угрозы для жизни: «... главная деятельность врача на перевязочном пункте должна состоять не в предупредительных пособиях, к которым относится и большая часть первичных ампутаций, а в тех, которые имеют целью тотчас устранить уже существующую опасность для жизни» [Там же, с. 32].

Толстой фактически фиксирует смену этих представлений, сосредотачиваясь в первом рассказе на ампутации конечностей, а во втором и третьем на сортировке раненых. На первый взгляд операция, охарактеризованная как «отвратительная, но благодетельная», понимается вполне привычно: страдалец лишается части тела, но благодаря этому него появляется возможность жить. Как мы уже отмечали в предыдущей главе, категория целого – одна из самых важных в поэтике Толстого. Утрата ощущения целостности – всегда трагедия. В «Набеге» механическое восстановление здорового «белого» тела Аланина, которым занимается доктор, оказывается бессмысленным, так как целое не является простым сложением частей, оно вообще находится вне ведения человека, оно скорее снисходит к нему. В «Казаках» ампутация откровенно осуждается: казак без ноги воспринимается дядей Ерошкой как «не-человек». В «Севастопольских рассказах» люди лишаются конечностей не только на операционном столе, но и на поле боя. Можно предположить, что эти трагические последствия военных событий и неконсервативные методы помощи находятся в определенной взаимосвязи.

Ампутация помогает сохранить жизнь, но вряд ли – целостность, о чем свидетельствуют моральные и физические страдания, наблюдаемые и переживаемые в операционной. Их след выражается, например, в мертвом взгляде старого солдата, лишившегося руки: «Руки у него совсем нет: она вылучена и плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни» (Толстой. Т. 4; с. 8). Сами пациенты на перевязочном пункте не столько раненые, сколько именно «страдалцы». Братья Козельцовы приходят в офицерскую палату к Марцову, которому за день до их приезда во время сна оторвало ногу. Офицер старается терпеть ужасную боль, но

в какой-то момент проговаривается: «— Гм! А я-то вот и полный выслужил, — сказал он, морщась. — Ах, как больно!.. Да уж лучше бы конец скорее» (Толстой. Т. 4; с. 84). На «страдальцах» лежит отпечаток смерти, который нарушает целостность их жизни. Денщик Михаила Козельцова, Николаев, которому было поручено проводить Володю после посещения перевязочного пункта до Корабельной, сетуя на стремление поручика поскорее вернуться в Севастополь, скажет своему спутнику: «Что тут-то радости много, что ли? Либо ногу, либо руку оторвет — вот те и всё! Долго ли до греха! Уж на что здесь, в городе, не то, что на баксионе, и то страсть какая. Идешь — молитвы все перечитаешь» (Толстой. Т. 4; с. 86). Осажденный Севастополь — это место, где всякому грозит в лучшем случае лишение конечности.

Доктора не могут сохранить целостность, они лишь поддерживают покалеченную страданиями жизнь. При этом их присутствие не бессмысленно, как это было в «Набеге». Как мы полагаем, дело здесь не в них самих. Выполняя ампутации, доктора не борются за восстановление целого. В «Севастопольских рассказах» врачи важны не как субъекты, а как некое орудие, не столько справляющееся с последствиями военных действий, сколько фиксирующее их.

Сцены «Севастополя в мае» и «Севастополя в августе 1855 года», в которых участвуют врачи, построены вокруг уже упомянутого нами выше нововведения Пирогова в области военно-полевой медицины — сортировки. Перевязочный пункт, размещавшийся в здании Дворянского собрания, князь Гальцин посещает в тот момент, когда врач записывает уже 532-го раненого: «— Иван Богаев, рядовой 3-ей роты С. полка, *fractura femoris complicata*, — кричал другой из конца залы, ущупывая разбитую ногу. — Переверни-ка его.

— О-ой, отцы мои, вы наши отцы!— кричал солдат, умоляя, чтобы его не трогали.

— *Perforatio capitis*.

— Семен Нефердов, подполковник Н. пехотного полка. Вы немножко потерпите, полковник, а то этак нельзя, я брошу, — говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника.

– Ай, не надо! Ой, ради Бога, скорее, скорее, ради... а-а-а-а!

– *Perforatio peccloris*... Севастьян Середа, рядовой... какого полка?.. впрочем, не пишите: *moritur*. Несите его, – сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже...» (Толстой. Т. 4; с. 38). Доктора в этом отрывке непосредственно лечением не занимаются: они лишь распределяют поступающих к ним «страдальцев»²⁶. По Пирогову важнее всего в рамках сортировки определить тех, кто нуждается в операциях, имеющих «жизненное показание», отделив их от безнадежных и легкораненых: «Я предложил всем врачам и фельдшерам, находившимся у меня на перевязочном пункте, с первого же появления транспортов начинать раскладывать раненых так, чтобы трудные и требующие безотлагательной помощи отделены были тотчас от легко и смертельно раненых» [Там же, с. 24]. Ивану Богаеву (осложненное раздробление бедра), например, до введения сортировки требовалась бы срочная ампутация. А это значит – суматоха на перевязочном пункте, влекущая за собой смерти тех, кто нуждается в неотложной помощи. Пирогов подчеркивал вред беспорядка и для самого врача: «Врачи от беспорядков на перевязочных пунктах истощают уже в самом начале свои силы, так что им невозможно делается помочь последним раненым, а эти-то раненые, позже других принесенные с поля битвы, и нуждаются всех более в пособии» [Там же, с. 23]. Сразу оказанная помощь тем раненым, которые могли бы без серьезных последствий подождать, отнимает шанс на выживание у тех, кому грозит смерть, врач, тратящий свои силы на всех подряд, лишает помощи тех, кто в ней больше всего нуждается. Тот же эффект будет иметь лечение смертельно раненых и безнадежных, таким как Севастьян Середа или Михаил Козельцов. Кроме того, раненые, принадлежащие к этой категории, могут вызывать у врача чувство сострадания: чтобы не навредить

²⁶Пирогов предлагал делить раненых на 5 категорий. Первая – безнадежные и смертельно раненые: их агония может длиться два-три дня, но им уже не помочь. Вторая – тяжело и опасно раненые, требующие срочной помощи. Третья – тяжелораненые, требующие срочной предохранительной помощи: например, когда конечность оторвана, но нет кровотечения и нужно «отвратить омертвение». Четвертая – раненые, не нуждающиеся в неотложной помощи: их нужно подготовить к транспортировке. Пятая – легкораненые. [Там же, с. 33].

работе доктор должен бороться с ним, оставляя эту заботу священникам и медицинским сестрам.

Пирогов называл войну «травматической эпидемией»²⁷, бороться с которой нужно «деятельной и хорошо учрежденной администрацией». Порудоминский верно подмечает: «Пироговская “сортировка” – вот что выхватил приметливый взгляд Толстого на перевязочном пункте. Впрочем, может быть, здесь не одна наблюдательность. Не исключено, что писатель узнал о “сортировке” от самого Пирогова» [Порудоминский, 2012, с. 144]. Однако пироговское понимание войны Толстой вряд ли разделял. В конце концов он и медиком не был. Поэтому результатов этой плодотворной работы врачей во время обороны Севастополя на страницах его рассказов нет. Та статистика, которой переполнена «Крейцера соната», в них отсутствует. Сортировка, как и ампутация, не является в «Севастопольских рассказах» какой-то существенной мерой, радикально меняющей картину войны. Она скорее подчеркивает, фиксирует «ужасные, потрясающие душу зрелища». В фокусе писателя явно находится не борьба докторов за жизнь, а упорядочивание чудовищных последствий войны.

Вместе с врачами постоянно наблюдают «ужасающие и потрясающие душу зрелища» перевязочного пункта сестры милосердия. Если первые заняты порой «отвратительной» работой с телом раненых, требующей зачастую быть безучастным относительно чужих страданий, то последние, напротив, вовлечены в них.

Наблюдать такие «зрелища», особенно наблюдать впервые – опыт тяжелый, вызывающий противоречивые чувства. С. Сонтаг в своей последней книге, опубликованной при жизни, в рамках изучения феномена военной фотографии и ее восприятия пишет: «Всякий раз ужасное ставит нас перед выбором: быть либо зрителями, либо трусами, отводящими взгляд» [Сонтаг, 2023, с. 43]. Толстовское повествование не фотография, но пафос «Севастопольских рассказов», особенно «Севастополя в декабре месяце», заключается в стремлении показать войну «в

²⁷ «Война – это травматическая эпидемия. Как при больших эпидемиях всегда недостает врачей, так и во время больших войн всегда в них недостаток» [Там же, с. 19].

настоящем ее выражении». Все тревожащие душу картины в этих текстах им вызваны. И не только герои наблюдают их и стоят перед сложным этическим выбором, но и читатель.

Случайные посетители перевязочного пункта не могут выдержать пребывания в нем. Князь Гальцин, едва войдя в первую комнату, тотчас выбегает на улицу. Володя Козельцов при виде чужих страданий словно теряется. Наблюдение отнимает у него дар речи, делает его обездвиженным, вырывает из жизни: «— Пойдем же, что ты смотришь! — сказал Козельцов Володе, который, подняв брови, с каким-то страдальческим выражением, не мог оторваться — смотрел на раненых. — Пойдем же.

Володя пошел с братом, но все продолжая оглядываться и бессознательно повторяя:

— Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!

— Верно, они недавно здесь? — спросила сестра у Козельцова, указывая на Володю, который, ахая и вздыхая, шел за ними по коридору» (Толстой. Т. 4; с. 83). Увиденное ужасает Володю, а после приводит к гнетущим размышлениям об одиночестве и трусости.

Володя уходит, а «хорошенькая сестра» с «тоненькими нежными пальцами» остается. Впрочем, постоянное нахождение среди «страдальцев» влияет на нее несколько иначе: «Хорошенькая сестра посмотрела на Володю и вдруг заплакала.

— Боже мой, Боже мой! Когда это все кончится! — сказала она с отчаянием в голосе» (Толстой. Т. 4; с. 83–84). Ее отчаяние вызывает переживание не о собственной судьбе, а о судьбе раненых солдат или, как этой цитате, молодого прапорщика, который, в лучшем случае, может стать «страдальцем». Она выглядит беспомощной, но при этом остается и выполняет дела милосердия со слезами на глазах, жертвуя своей молодостью ради других.

Эту жертвенность сестер Крестовоздвиженской общины подчеркивал и Пирогов: «В комнатах больных они подвергались днем и ночью опасности от заразы и от простуды. Нельзя было не дивиться *их усердию, деятельности при ухаживании за больными и их истинно стоическому самоотвержению.*

Малейшие желания страждущих, даже капризы их, исполнялись самым совестливым образом. В самом деле, трогательно было видеть, как *многие из сестер*, еще молодые и неопытные (опытные лучше умеют рассчитывать меру деятельности и сил своих), *наперерыв старались помогать медику и больному с полным самопожертвованием*» (курсив наш. – В.М.) [Пирогов, 2011, с. 162–163]. У Толстого, к слову, для женщин в осажденном Севастополе это типичное поведение. Так, в первом рассказе появляется матроска, которой бомбой задело ногу, когда она носила мужу обед на бастион. Смотря чужие страдания, сестры милосердия, жены солдат и матросов остаются открытыми к ним, не отворачиваются, доходя до какого-то самозабвения.

Сестры милосердия в представлении Пирогова тоже являлись борцами с «травматической эпидемией». Их деятельность была четко организована. Сестры-хозяйки занимались вопросами содержания раненых: например, готовили еду и питье, следили за чистотой белья. Сестрам-аптекарям было поручено надзирать за хранением и распределением необходимых лекарств. Ещё одна группа сестер принимала участие в перевязках, помогала фельдшерам в изготовлении перевязочных средств. Кроме того, они должны были брать на сохранение деньги и вещи больных, исполнять их последнюю волю. Им же поручалось облегчать участь безнадежных: «Велика и высока была обязанность этих сестер: им поручались их последние желания, и последний вздох умирающих за Отечество!» [Там же, с. 177].

В текстах Толстого все эти подробности, отраженные в «Историческом обзоре о действии Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных в военных госпиталях в Крыму и Херсонской губернии с 1 декабря 1854 г. по 1 декабря 1855 г.» (1856) Пирогова, опускаются. Кроме уже отмеченной жертвенности на первый план выходит «деятельное практическое участие»²⁸: «Сестры, с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского

²⁸ Любопытно, что Пирогов в своем обзоре также называет труды сестер «дейтельным участием»: «Сестры этого отделения во всем принимали самое деятельное участие» [Там же, с. 182].

болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами» (Толстой. Т. 4; с. 37–38). Наблюдение страданий, боли, предсмертных мучений других неизбежно вызывает тяжелые мысли, которым предаются случайные посетители перевязочного пункта. Один из солдат, лишившийся ноги в бою, рассказывая о пережитом, заключает: «Оно первое дело, ваше благородие, *не думать много*: как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше оттого, что думает человек» (Толстой. Т. 4; с. 7). Это правило применимо не только для самих «страдальцев». Ему следуют сестры, отстраняясь от разрушительных мыслей в своем «дейтельном участии».

При этом они не уничтожают само страдание или его причину. Жертвуя собой, сестры милосердия помогают жить в страдании. Мысль, свойственная позднему творчеству Толстого: страдание и болезнь не нужно стремиться устранить, нужно учиться жить в этих состояниях. Пока что она находится на периферии. В «Севастопольских рассказах» сестры милосердия дополняют деятельность врачей, внутренне дистанцирующихся от самих «страдальцев» ради работы с их телом. Совместно они выполняют одну функцию: делают страдания «выпуклыми», подчеркивают их.

Врачи и сестры милосердия работают с последствиями. Так уже было в раннем дневнике Толстого: есть видимые проявления недуга – ими занимаются доктора, а есть его исток – с ним наедине остается больной. Весь этот медицинский дискурс, что совершенно игнорировался в первых дневниковых записях, а в «Севастопольских рассказах» вдруг органично вплелся в повествование, представляет собой не что-то отдельное, особое. Происходящее на перевязочном пункте органично связано с событиями на поле боя. Сам недуг лишь в этих событиях обнаруживается. В «Севастополе в мае» о нем говорится прямо: «Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде – даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего

между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей: одних – принимающих начало тщеславия как факт необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющихся ему; других – принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих – бессознательно, рабски действующих под его влиянием? Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть снобсов и тщеславия?» (Толстой. Т. 4; с. 24).

2.3. «Эпидемия тщеславия»

В первой главе «Севастополя в мае» Толстой пишет о войне как помешательстве, сумасшествии. Война не заканчивается и не начинается на поле боя. Вопросы, по которым не нашли согласия дипломаты, не решаются «порохом и кровью». Бомбы, ядра и пули причиняют людям страдания абсолютно бессмысленно. Сами картины страдания, казалось бы, кричат о неприемлемости происходящего. Однако этот пацифизм не должен сбивать с толку. Война в «Севастопольских рассказах» несет страдания, но нет в этих текстах никакого протеста. Война – это не то, чего *не должно быть*, а то, что *есть*. Толстой в дневнике отмечает, что ему нравится наблюдать над солдатами и моряками и над «самым образом войны»: «13 Апрелья. Тотъ же 4-ый бастіонъ, к[оторый] мнѣ начинаетъ очень нравиться, я пишу довольно много. – Нынче окончилъ С[евастополь] д[немъ] и н[очью] и немного написалъ *Юности*. Постоянная прелесть опасности, наблюденія надъ солдатами, съ к[оторыми] живу, моряками и самымъ образомъ войны такъ пріятны, что мнѣ не хочется уходить отсюда, тѣмъ болѣе что хотѣлось бы быть при штурмѣ, ежели онъ будетъ» (Толстой. Т. 47; с. 42). Война воспринимается не как что-то, с чем нельзя смириться, а как законный фон, который нужно раскрыть в «настоящем его выражении». Позиция повествователя в «Севастопольских рассказах» отличается от той, что была в «Набеге»: он находится не внутри событий, а словно над ними, но при этом играет планами, то приближается к герою, то удаляется от него.

Происходящее в Севастополе Толстой неоднократно называет «зрелищем». Причем это касается всех трех рассказов: «Но прежде, чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским Собранием и у крыльца которого стоят солдаты с носилками, – вы увидите там защитников Севастополя, увидите там *ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 4; с. 6); «Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, – увидите *ужасные, потрясающие душу зрелища*; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти...» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 4; с. 9); «– Quel charmant coup d'œil!a? – сказал Калугин, обращая внимание своего гостя на это *действительно красивое зрелище*. – Знаешь, звезды не различишь от бомбы иногда» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 4; с. 32); «По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых; но, по опыту зная, как в деле дурно действует на дух человека это *зрелище*, он не только не останавливался расспрашивать их, но напротив старался не обращать на них никакого внимания» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 4; с. 32); «Ужасный тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Из Севастополя и из французского лагеря толпы народа высыпали смотреть на это *зрелище* и с жадным и благосклонным любопытством стремятся одни к другим» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 4; с. 56); «Володя без малейшего содрогания увидал это страшное место, про которое он так много думал; напротив, он с эстетическим наслаждением и героическим чувством самодовольства, что вот и он через полчаса будет там, смотрел на это действительно *преlestно-оригинальное*

зрелище, и смотрел с сосредоточенным вниманием до самого того времени, пока они не приехали на Северную, в обоз полка брата, где должны были узнать наверное о месте расположения полка и батареи» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 4; с. 76); «Однако это чувство бесстрашия и самодовольства было скоро поколеблено *зрелищем*, на которое он наткнулся в сумерках на Корниловской батарее, отыскивая начальника бастиона. Четыре человека матросов около бруствера за ноги и за руки держали окровавленный труп какого-то человека без сапог и шинели и раскачивали его, желая перекинуть через бруствер» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 4; с. 105).

Само слово, что примечательно, совсем не используют герои. Порой они стараются отвернуться, не смотреть на ужасающие картины, способные оказывать «дурное» влияние на «дух человека». Им не приходит в голову рассказывать об этом. Война в любом своем проявлении – «зрелище» для того, кто может передать ужасное в словах.

Но, несмотря на кровь, страдания, смерть – это «красивое», «изумительное» «зрелище». Оно восхищает и ужасает, никогда не оставляя в душе равнодушия. Впрочем, есть в нем и театральность, по идее, противоречащая доминирующей в это время интенции писателя – писать так, как есть в жизни, преодолевать в текстах литературность, делать их «настоящими».

В начале главы мы отмечали ощущение небывалого со времен Древней Греции «геройства», наполнявшее писателя во время обороны Севастополя (о чем свидетельствуют дневники) и отразившееся в «Севастопольских рассказах». Вспомним также, что дневник Толстой начинает с констатации «развращающего» влияния «светского общества». Это влияние, воспринимающееся как патологическое, он пытается преодолеть упорядочиванием жизни в правилах, ее регламентацией. Служба на Кавказе поначалу его спасает, но вскоре офицерская среда начинает тяготить. В 1853 г. после разговора с офицерами о титулах Толстому приходят такие мысли: «Долго я обманывалъ себя, воображая, что у меня есть друзья, люди, которые понимаютъ меня. Вздоръ! Ни одного человѣка еще я не встрѣчалъ, который бы морально былъ такъ хорошъ, какъ я, который бы

вѣрилъ тому, что не помню въ жизни случая, въ которомъ бы я не увлекся добромъ, не готовъ былъ пожертвовать для него всѣмъ.

Отъ этаго я не знаю общества, въ которомъ бы мнѣ было легко. Всегда я чувствую, что выраженіе моихъ душевныхъ мыслей примутъ за ложь, и что не могутъ сочувствовать интересамъ личнымъ» (Толстой. Т. 46; с. 191). Ощущение трагического внутреннего конфликта со средой в ранние годы постоянно преследует его. Севастопольские события раскрывают потенцию к преображению, возможность приравняться к героям древности. Даже там, где Толстой пишет об «особенной болезни нашего века» ему нужен контекст «Гомеров и Шекспиров», намечающий этот вектор.

Б. М. Эйхенбаум в статье «Творческие стимулы Л. Толстого» (1935) проникательно подмечает: «Толстой может работать только тогда, когда ему кажется, что весь мир смотрит на него и ждет от него спасения, что без него и его работы мир не может существовать, что он держит в своих руках судьбы всего мира. Это больше, чем “вдохновение”, – это то ощущение, которое свойственно героическим натурам» [Эйхенбаум, 1969, с. 85]. Героика, утверждает ученый, и настоящий стимул толстовского творчества, и основа его жизненных установок. Толстой живет и творит, ощущая на себе взгляд, идущий от истины. Он периодически осознает, что понять саму истину рационально не получается, но точно знает, что она есть: есть целое, есть Бог, к которому писатель периодически оставляет обращения в дневнике. В одном из них, зафиксированном 14 апреля 1855 г., Толстой просит Бога не оставлять его, напутствуя для достижения «неведомой но сознаваемой» «цели бытия» (Толстой. Т. 47; с. 42).

«Особенную болезнь нашего века» в «Севастопольских рассказах» нужно рассматривать, принимая во внимание толстовскую героика. Тщеславие в «Севастополе в мае» прямо связывается с аристократической средой. Само слово «аристократ», обозначающее некий высший статус в обществе, становится своеобразным симптомом этого недуга: «Слово *аристократы* (в смысле высшего отборного круга, в каком бы то ни было сословии) получило у нас в России (где бы кажется, не должно бы было быть его) с некоторого времени большую

популярность и проникло во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие (а в какие условия времени и обстоятельств не проникает эта гнусная страстишка?) – между купцами, между чиновниками, писарями, офицерами, в Саратов, в Мамадыши, в Винницы, везде, где есть люди» (Толстой. Т. 4; с. 23). Тщеславие заразно. Оно там, где есть люди, отмечает повествователь. Впрочем, можно с уверенностью сказать, что не все люди в Севастополе ему подвержены. Простые солдаты и матросы, если можно так выразиться, имеют иммунитет: можно вспомнить хотя бы «старого исхудалого солдата», лишившегося в бою ноги и стыдящегося собственного достоинства из «Севастополя в декабре 1854 года». Эта болезнь распространена среди тех, кого Юрий Михайлович Лотман назвал «героями саморазвития и самооценки».

Пользуясь терминологией Р. Жирара, можно сказать, что тщеславие обнаруживается при подмене внешней медиации внутренней. Внешняя медиация подразумевает духовную дистанцию между субъектом и медиатором желания, о которой сам субъект открыто заявляет. При внутренней медиации этой дистанции нет: «романтическая» литература, по Жирару отличается тем, что в ней медиатор присутствует, но не раскрывается. Исследуя природу желания в произведениях Стендаля²⁹, философ обращает внимание на то, как внутренняя медиация становится основой тщеславия: «Под маской преданности, слащавого альтруизма и лицемерной участливости знатных дам 1830-х годов Стендаль обнаруживает не приступ щедрости или чистосердечную готовность к самоотдаче, а исполненный тщеславия и тревоги отчаянный жест, центробежное движение “Я”, неспособного желать само по себе» [Жирар, 2021, с. 45]. Толстовское сопротивление влиянию «светского общества» связано с осознанием того, что оно (влияние) сбивает с пути, подменяет истинные стремления ложными. Писатель постоянно соотносит себя с целым, с неким Абсолютом, служащим для него внешним медиатором. В «обществе» «не могут сочувствовать его личным интересам», так как в нем

²⁹ Писателя во многом близкого Толстому, писателя, которого Толстой активно читает и перечитывает. В этом смысле даже странно, что Жирар почти не обращается к его творчеству как материалу для книги «Ложь романтизма и правда романа» (1961).

господствует центробежное движение «Я». «Севастопольские рассказы» имеют аналогичную структуру. «Севастополь в мае» заканчивается следующими словами: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда» Толстой. Т. 4; с. 59). Если аристократы – это внутренний медиатор в рассказе, то правда – внешний. В подражании правде – героика, открывающая вертикальное движение, способствующая преображению. В подражании аристократам – тщеславие, замыкающее на самом себе.

Тщеславие Толстой считает одним из основных своих пороков, едва ли не главным. Многие страницы дневников ранних лет содержат многочисленные свидетельства об этом. В записи от 20 марта 1852 г. Впечатление от прочтения дневника за предыдущий год Толстой формулирует так: «Во всемъ дневникѣ видна одна главная идея и желаніе: это *избавиться отъ тщеславія*, которое подавляло собой и портило всѣ наслажденія, и отыскиваніе средствъ избавиться отъ него» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 46; с. 92–93). Тщеславие предстает особым пороком, разрушительно влияющим на жизнь. Размышления о его сущности наталкивают писателя на сопоставление с болезнью: «Это какая то *моральная болѣзнь вродѣ проказы*, – она не разрушаетъ одной части, но уродуетъ все, – она понемногу и незамѣтно закрадывается и потомъ развивается во всемъ организмѣ; нѣтъни одного проявленія, которое бы она не заразила, – она *какъ венерическая*; ежели изгоняется изъ одной части, съ большей силой проявляется въ другой. <...> Эта страсть чрезвычайно развита въ нашъ вѣкъ, надъ ней смѣются; но ее не осуждаютъ; потому что она не вредна для другихъ. Но за то для человѣка, одержимаго ей, она хуже всѣхъ другихъ страстей – она *отравляетъ все существованіе*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 46; с. 94–95). Тщеславие, по Толстому, уродует моральный облик человека, подобно тому, как проказа – физический. От него сложно избавиться: оно всегда находит брешь в подчиненном разуму порядке жизни, чем напоминает «венерическую». Тщеславие «отравляет все существование», так как человек, зараженный им, не знает настоящей жизни – для него все «неестественно, насильственно». Ему

кажется, что отражение в глазах других, не находящихся на духовном удалении, и есть истина: подмена не замечается. Чтобы быть собой, медиатор должен быть на недостижимой дистанции. Вновь обретать эту дистанцию, хотя и ненадолго, помогают изоляция, дисциплина и страдание.

В «Севастопольских рассказах» тщеславие предстает как полноценная эпидемия – «болезнь века». Ею заражен штабс-капитан Михайлов, мечтающий о том, как жена его приятеля, голубоглазая Наташа, однажды прочтет в «Инвалиде» о награждении его «Георгием», о том, как он будет продвигаться по службе и получать всё новые и новые звания и награды. Заражены подполковник Нефердов и ротмистр Праскухин, поступившие на службу из отставки, по большей части, потому «все это делали». Болен адъютант Калугин, вытесняющий страх перед небытием, возникающий у него по дороге на бастионы, стремлением умереть красиво, как в анекдотичной истории про адъютанта Наполеона. И барон Пест, «в забытии» заколовший француза, но рассказывающий о себе, как о герое, спасшем «дело». И многие другие. Весь круг офицеров находится в скрытом соперничестве друг с другом, подпитывающемся внутренней медиацией.

Толстовские тщеславцы попадают в такие положения, где в них обнаруживается внутреннее противоречие. На бастионах всех их посещает мысль о смерти, они проецируют возможные боль, страдание и небытие на себя. «Мысль обыкновенная» для человека, зараженного тщеславием, «обыкновенной» не является, потому что внутренняя медиация создает иллюзию. Смерть для них театральна, красочна – совсем не похожа на то, что можно увидеть на перевязочном пункте и на бастионах. Толстой показывает, как вовремя событий экзистенциальных, чужие желания управляют человеком. В бою «аристократ» постоянно ощущает на себе взгляд, но это не взгляд Абсолюта, а взгляд другого «аристократа». Страх смерти борется с желанием сохранить «репутацию». Несовпадение с самим собой настоящим обнаруживается в штабс-капитане Михайлове, например, в том, что части тела как бы отделяются от него самого: «Несмотря на то, однако, ему большого труда стоило удержать свои ноги, чтобы они не бежали, когда он перед ротой, рядом с Праскухиным, вышел из

ложементов» (Толстой. Т. 4; с. 43). Тщеславие разрушает целостность. Тоже самое происходит с пехотным офицером, принесшим донесение генералу: «Калугин встал, но не отвечая на поклон офицера, с оскорбительной учтивостью и натянутой официальной улыбкой, спросил офицера, не угодно ли *им* подождать и, не попросив его сесть и не обращая на него больше внимания, повернулся к Гальцину и заговорил по-французски, так что бедный офицер, оставшись посередине комнаты, решительно не знал, что делать с своей персоной и руками без перчаток, которые висели перед ним» (Толстой. Т. 47; с. 30–31). Он буквально не знает, что делать со своим телом в обществе, чей статус признается им высшим. Нельзя сказать, что пехотный офицер тщеславен, но нелепость его вида в среде «аристократов» – очевидный симптом этой болезни.

Тщеславие обнаруживается в отношении к смерти. «Аристократы» испытывают страх на поле боя и опасаются, что «другие» это увидят. Они чувствуют, что трусят. Это заставляет вести себя неестественно, неправдиво, заставляет оглядываться. Вот, например, «храбрец» Калугин, ободряющий себя, старающийся не смотреть на раненых, испытывает страх: «Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было» (Толстой. Т. 4; с. 40). Однако это естественное чувство он вытесняет, как только в зоне видимости появляется кто-то: «Вдруг чьи-то шаги послышались впереди его. Он быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом, и первый крикнул ему: “ложитесь!” указывая на светлую точку бомбы, которая, светлее и светлее, быстрее и быстрее приближаясь, шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно, под влиянием испуганного крика, нагнул голову и пошел дальше» (Толстой. Т. 4; с. 40). Взгляд «других» заставляет храбриться и делать из себя героя, что подчеркивает внутреннее противоречие между собственной сущностью

и желанием подражать внутреннему медиатору, которым для Калугина является здесь саперный офицер. Это уродует образ героя.

Страх испытывают на поле боя не только «аристократы». Во время штурма Михаил Козельцов видит испуганные лица солдат, чьи переживания передаются и ему самому. А вот что замечает Володя Козельцов, впервые попавший на Малахов курган: «Некоторые из солдатиков делали то же, и вообще на большей части их лиц выражалось, ежели не боязнь, то беспокойство» (Толстой. Т. 4; с. 104). Хотя чаще Толстой подчеркивает спокойствие простых солдат и матросов, спокойствие не показное, а им присущее: «Посмотрите хоть на этого фуhrштатского солдатика ...он исполняет свое дело, какое бы оно ни было – поить лошадей или таскать орудия – так же спокойно и самоуверенно, и равнодушно, как бы всё это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 4; с. 5); «– Вишь, какой бравый! – сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу расчел, что осколки ее не могут задеть в траншее, – и лечь не хочет» (Толстой. Т. 4; с. 40); «С секунду он оставался недвижим; но, взглянув кругом, он увидел, что солдаты довольно спокойно застегивали шинели и вылезали один за другим...» (Толстой. Т. 4; с. 115). Дело здесь, очевидно, не столько в самом страхе или спокойствии, сильно зависящих от ситуации и знания «дела», от опыта, сколько в осмыслении себя как труса. Мысль о собственной трусости, принимающая гипертрофированные формы, уже – симптомом заражения, следствие неправильной медиации. Ее и «анатомирует» повествователь, медиатором для которого является «Правда».

Володя Козельцов, желавший поскорее попасть в осажденный Севастополь, чтобы сделать карьеру по примеру Тотлебена, в два года ставшего из подполковника генералом, этот «молодой мальчик семнадцати лет», едва выйдя из перевязочного пункта, вдруг понимает, что он трус: «Господи! неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус. Неужели за отечество, за царя, за которого я с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! я несчастное, жалкое создание!» (Толстой. Т. 4; с. 86). Эта неспособность принять

смерть напрямую связана с тщеславием: на войне Козельцов-младший сталкивается с болезненной заикленностью на самом себе. Страдания и смерть других, наблюдаемые им неизбежно ее обостряют. Герой все больше и больше чувствует безразличие других к своей судьбе: один на один с мыслью о смерти. Примириться с ней и заснуть спокойно помогает другая мысль – о Боге: «Ежели нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай это, Господи, – думал он, – поскорее сделай это; но ежели нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет, дай мне их, но избави от стыда и позора, которых я не могу переносить, но *научи, что мне делать, чтобы исполнить Твою волю*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 4; с. 90). Герой, желавший себе славы, становится исполнителем «Его воли». И именно это, как ни парадоксально, позволяет ему быть собой. Война, со всем ужасом и страданием, открывает возможность преображения.

Отчетливее понять толстовскую логику поможет сравнение Володи Козельцова с героем романа Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи» (1932) – Фердинандом Бардамю. Фердинан, студент-медик, ставший добровольцем французской армии, принимает участие в Первой мировой войне. Довольно быстро он приходит к мысли, подобной той, что мучила Козельцова-младшего: «“Неужели я единственный трус на земле?” – подумал я. И с каким ужасом подумал! Трус, затерявшийся среди двух миллионов героических психов, сорвавшихся с цепи и вооружённых до зубов?» [Селин, 2019, с. 10]. Оба героя с ужасом осознают себя трусами. Однако для Бардамю быть трусом – это мировоззренческая позиция, ведущая к индивидуальной автономии. Она не способствует выходу к некоторой истине, но позволяет распознать в значениях «воображаемое». Именно бытие само по себе важно для героя Селина, бытие, прежде всего, телесное, физическое. Для героя Толстого трусость не проявление здоровья, а симптом недуга, отражающий нарушение в системе ценностей, где на место «Он» становится «Я».

Влияние других лишь помогает тщеславию развиваться в человеке. Эта болезнь по Толстому, судя по всему, коренится в самой возможности думать. В дневнике писатель периодически отмечает, как голос тщеславия вдруг начинает

говорить в нем: «Тщеславіе, какъ всегда, прокралось въ мою душу, и я думалъ: “Мнѣ очень пріятно себя слушать, но еще пріятнѣе, должно-быть, слушать меня постороннимъ”» (Толстой. Т. 46; с. 82); «Всталъ рано, былъ въ ваннахъ и что-то стало грустно смотрѣть на порядочныхъ людей. Мнѣ приходитъ въ голову, что я *былъ* имъ. Глупое тщеславіе!» (Толстой. Т. 46; с. 124); «На дорогѣ молился вслухъ и присутствіе Б[уемскаго] дѣйствительно возбуждало меня въ истинной молитвѣ. Неужели и тутъ тщеславіе?» (Толстой. Т. 46; с. 137). В одной из записей он обращает внимание на то, что порой этот голос сложно отличить от голоса совести (Толстой. Т. 46; с. 128). Потому так важен для Толстого порядок в мыслях и жизни, заключающийся в постоянной физической и моральной работе: «Я совершенно убѣжденъ, что тщеславіе происходитъ отъ физическаго и моральнаго бездѣйствія» (Толстой. Т. 46; с. 98); «Тщеславіе происходитъ и усиливается отъ моральнаго безпорядка въ душѣ человѣка» (Толстой. Т. 46; с. 207). Уточняя Эйхенбаума, можно сказать, что толстовская «героика» реализуется в борьбе с самим собой во имя Абсолюта / Бога / Истины.

«Старый солдат» с «добродушным» взглядом из «Севастополя в декабре месяце» на вопросы о боли, которую тот испытал во время ранения и после него, так отвечает гипотетическому посетителю перевязочного пункта: «— И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, *не думать много*: как не думаешь, оно тебе и ничего. Всѣ больше оттого, что думает человек» (Толстой. Т. 4; с. 7). «Герой существования», обладающий «бессознательным величьем и твердостью духа», указывает на путь борьбы с «эпидемией», которую так тщательно «анатомирует» Толстой в «Севастополе в мае» и «Севастополе в августе 1855». Врачи, фельдшеры, медицинские сестры в «Севастопольских рассказах» непосредственно лечением не занимаются. Происходящее на перевязочных пунктах продолжает то, что происходит на бастионах. Или даже выражает суть происходящего в концентрированной форме: страдание и боль раненых, последние минуты безнадежных, моральные мучения тех, кому довелось это смотреть. Борьба с «эпидемией тщеславия», нарушающей правильные отношения человека и мира,

можно лишь внутри себя, переходя от гнетущих мыслей к спасительной деятельности. Ужасы войны – это те идеальные условия, в которых человек может излечиться, в которых может вспыхнуть «благородная искра», лежащая у каждого на дне души: «На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя; но искра эта устает гореть ярко – придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела» (Толстой. Т. 4; с. 96–97).

С учетом вышеизложенных результатов анализа «Севастопольских рассказов», можно предположить, что к ранним «военным» произведениям примыкает еще один толстовский текст – «Три смерти» (1859). В нем хотя и отсутствует батальный фон, но похожая патология. Речь идет не о тщеславии (и вообще не об эпидемическом заболевании), а о неприятии смерти, также вызванном нарушением в медиации.

Доктор в «Трёх смертях» сконцентрирован на области телесного. Так, стоит обратить внимание на то действие, которое связано с первым и последним появлением этого персонажа в рассказе, своеобразно закольцовывающим его присутствие, определяющим смысл этого присутствия: «– Как вы себя чувствуете? – спросил доктор, щупая пульс» (Толстой. Т. 5; с. 55); «Доктор, подойдя к ней, взял её за руку. Пульс заметно бился слабее и слабее. Он мигнул мужу. Больная заметила этот жест и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала» (Толстой. Т. 5; с. 63). Доктор следит за пульсом и больше практически ничего не делает. Во всяком случае, это единственно отмечает автор. Но само наблюдение ни лечением болезни, ни облегчением страданий не является. Действие сопроводительное в рассказе становится для врача определяющим его сущность.

Такой ход сводит героя к своеобразному переводчику: доктор осязательно распознаёт наступающую смерть и, мигнув, передаёт эту информацию о теле больной окружающим и (случайно) ей самой. Иными словами он говорит об умирающей так: умирает. Сама барыня и окружающие её люди при этом оживляются («Больная ... испуганно оглянулась» (Толстой. Т. 5; с. 63); «Кузина отвернулась и заплакала» (Толстой. Т. 5; с. 63)). Доктор будто бы устраняет

разомкнутость между ними и смертью, уничтожает дистанцию. Однако, во-первых, эта встреча, скорее всего, остаётся всего лишь столкновением (о чём, например, свидетельствует вопрос автора, поставленный прямо в тексте произведения: «Но понимала ли она хоть теперь великие эти слова?» (Толстой. Т. 5; с. 63)), а во-вторых – само сообщение, по сути, является лишь, исходя из ситуации, пугающей тавтологией: все знают о смерти, но все от неё далеки.

Врач оказывается избыточностью, что удлинняет путь человека к пониманию собственной смерти, вписываясь в общую логику этого удлинения, центрального для истории барыни³⁰. Доктор в рассказе вообще говорит (почти как все доктора в произведениях Толстого) крайне мало. Однако все, что он произносит, не выходит за рамки констатации смерти: «– Да она уже убита, вам надо знать это, Василий Дмитрич. Человек не может жить, когда у него нет лёгких, и лёгкие опять вырасти не могут. Грустно, тяжело, но что ж делать?» (Толстой. Т. 5; с. 55). Задолго до самой смерти доктор её уже утверждает и передаёт как некоторое знание («вам надо знать это»), чтобы потом ещё раз повторить сказанное. Здесь же уместно будет обратить внимание на то, как в самом повествовании низвергается какая-либо значимость врачебного знания: «В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома» (Толстой. Т. 5; с. 63). Больная становится телом, из чего следует, что смерть направлена на нечто иное. Соответственно, врач, говорящий о смерти и согласующий её с областью телесного, с точки зрения толстовского монологического повествования – далек от истины.

Медицина в рассказе представлена несколько иначе, чем это было в «Севастопольских рассказах», где госпитальное пространство аккумулирует в себе страдания, вызывая ужас у наблюдателя, заставляя его самого ощутить рядом собой присутствие смерти. В «Трёх смертях» медицина призвана увеличить дистанцию между больной, её близкими и великой тайной небытия. Интересно,

³⁰ Так, например, рассказ начинается с дороги, которая должна привести госпожу «поскорей за границу», где она «скоро поправится». Примечательным оказывается и то, что на станции она не покидает своего экипажа, словно стараясь не прекращать своей спасительной линии в пространстве.

что в двух других смертях (мужика и дерева) нет лица-посредника. Дерево умирает в окружении звуков природы, наполненных радостью и счастьем: «Птицы громоздились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах...» (Толстой. Т. 5; с. 65). Это, безусловно, необходимо сопоставить со сценой, в которой муж умирающей госпожи сталкивается в коридоре с играющими детьми, которых не пускают к матери. Смерть дерева не выходит в мир и не удлиняется в нём, но освобождает место («Деревья ещё радостнее красовались на новом просторе...» (Толстой. Т. 5; с. 65)). Смерть госпожи, напротив, – спорит с живым даже пространственно: «затворённые двери», дважды появляющиеся в третьей части произведения, напоминают об этом: «Изредка из дальней комнаты долетали звуки детских голосов и их топота» (Толстой. Т. 5; с. 63). В рукописном варианте повести в избе, где умирает Фёдор, присутствует ряд лиц, в числе которых фельдшер: «В чём состояла эта болезнь, не знали ни его брат, ни племянник, ни фельшер, которому показывали больного, ни сам больной» (Толстой. Т. 5; с. 166). Толстой в итоговом варианте текста, во-первых, исключает избыточное медицинское вмешательство, во-вторых, делает персонажа «дальним»: «Родных у Фёдора не было – он был дальний» (Толстой. Т. 5; с. 60). Смерть мужика, по авторскому замыслу, должна быть спокойной³¹, а значит – не должна нарушать жизнь ни на уровне слова (избыточное слово доктора, стенания родных), ни на уровне вещи (сапоги умирающего не остаются в мире как нечто принадлежащее умершему, а переходят к молодому ямщику), ни на уровне пространства (кухарка Настасья жалуется на то, что больной занимает угол в избе, а к утру он умирает, освобождая место). К слову, больница всё же появляется в этой части повествования: «Либо перевезь его, что ль, в избу в другую, или куда! Такие больницы, слышь, в городе есть; а то разве дело – занял весь угол, да и шабаш.

³¹«Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия – природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза» (Толстой. Т. 60; с. 265).

Нет тебе простору никакого» (Толстой. Т. 5; с. 58), – однако смыслы с ней связываемые не имеют отношения к медицине.

Обратим внимание на то, какие недуги поражают персонажей. Недуг госпожи, и без того узнаваемый читателем середины XIX в. фактически с первых строк, прямо называется в тексте – это чахотка. С. Сонтаг в книге «Болезнь как метафора», исследуя бытование болезни не в человеческом теле, но в человеческой культуре (и языке, в частности), отмечает, что болезни с неясной этиологией подвержены самому широкому применению в качестве метафор. Одной из таких болезней как раз и является туберкулёз. Эта болезнь, как утверждает исследователь, в отличие от рака – болезнь души, так как считается, что она кроется в лёгких, относится к телесному «верху», к наиболее одухотворённой части тела. У. Мозер в работе «Чахотка. Другая история немецкого общества» пишет: «Чахоточный больной не менялся внешне, оставаясь самим собой, чахотка только смягчала его черты, делала их тонкими, хрупкими и изящными: бледность, прозрачность, лихорадочный румянец, тени вокруг глаз, худоба – всё это, наоборот, делает больного более привлекательным. Чахоточная красота казалась таинственно родственной смерти. Кроме того, если прочие недуги настигали человека как наказание за грехи, то чахотка воспринималась как незаслуженная беда, поражающая художника или писателя и выделяющая его из толпы» [Мозер, 2021, с. 13]. Впрочем, такая романтическая характеристика болезни, как утверждает исследователь, не является единственной и к середине XIX в. она перемежается с другими. Однако чахотка в «Трёх смертях» Толстого, как мы полагаем, соотносится именно с этой традицией.

Госпожа наделяется привычными для описаний чахоточных больных признаками: бледность («Одна была госпожа, худая и бледная» (Толстой. Т. 5; с. 53); «На голове её был ночной чепчик и голубая косыночка, завязанная на нежной бледной шее» (Толстой. Т. 5; с. 53)), телесная утончённость («Вялая, несколько желтоватая кожа неплотно обтягивала тонкие и красивые очертания лица...» (Толстой. Т. 5; с. 53)), лихорадочный кашель («Тяжёлый вздох поднялся из груди больной, но вздох, не кончившись, превратился в кашель» (Толстой. Т. 5; с. 54)),

слабость («Госпожа упёрлась обеими руками о сиденье и также хотела приподняться, чтобы подсесть выше; но силы отказали ей» (Толстой. Т. 5; с. 54)). Больная будто бы приобретает в своём угасании таинственную красоту, начала которой находятся вне пространства жизни. Однако парадокс: подчеркивающаяся в тексте «болезненная» красота лица («тонкие и красивые очертания лица» (Толстой. Т. 5; с. 53)), глаз («Прекрасные темные глаза больной...» (Толстой. Т. 5; с. 54)), «Большие глаза были блестящи и прекрасного темного цвета» (Толстой. Т. 5; с. 54)), рук (... сказала она опять, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец солопа горничной...)» (Толстой. Т. 5; с. 54)) госпожи уже в самом начале повествования подозрительно контрастирует с описанием «дышащей здоровьем» горничной: «Другая – горничная, глянцеvито-румяная и полная» (Толстой. Т. 5; с. 53); «Высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем...» (Толстой. Т. 5; с. 53); «Матрёша ... приподнялась на сильных ногах» (Толстой. Т. 5; с. 54); «Свежее лицо её покрылось ярким румянцем» (Толстой. Т. 5; с. 54).

Ещё большие подозрения вызывает эта «красота», если обратиться к характеристике, данной больной госпоже дочерью зрителя, «никогда не видевшей, какие в чахотке бывают»: «– Мм-а-тушки! – сказала зрительская дочь, быстро оборачивая голову. – Какая была красавица чудная, нынче что стало? Страшно даже» (Толстой. Т. 5; с. 56). Госпожа во взгляде ребенка выглядит совершенно иначе – в ней прямая противоположность красоты. Повествование и речь персонажа категорически расходятся в характеристиках.

Третьим штрихом, подчёркивающим противоречие и одновременно проливающим на него свет, являются слова самого автора по поводу замысла произведения в письме к А. А. Толстой: «Une brute, вы говорите, да чем же дурно une brute? Une brute есть счастье и красота, гармония со всем миром, а не такой разлад, как у барыни. Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, – потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет» (Толстой. Т. 60; с. 265 – 266). Барыня для автора некрасива. Красота здесь, очевидно, категория, связанная, прежде всего, с истиной. И именно в дальнейшем поведении госпожи

раскрывается лживость её существа. В качестве примера можно вспомнить часто цитируемый момент, когда она машинально осеняет себя крестом. Л. Н. Толстой первоначально реконструирует то, как чахотка обычно раскрывалась в повествовании, чтобы затем низвергнуть уже закреплённые смыслы абсолютным законом, стоящим за текстом: «Вот моя мысль, с которой вы, разумеется, не согласны; но которую оспаривать нельзя, – это есть и в моей душе, и в вашей» (Толстой. Т. 60; с. 266).

Болезнь мужика неизвестна. Обратимся к последнему диалогу Настасьи и Фёдора: «– Да что у тебя болит-то, дядя? Ты скажи.

– Нутро всё изныло. Бог его знает что.

– Небось и глотка изныла, как кашляешь?

– Везде больно. Смерть моя пришла – вот что. Ох, ох, ох! – простонал больной» (Толстой. Т. 5; с. 59). Мужик не может локализовать боль, потому всякое определение недуга размыто. В черновом варианте произведения эта мысль звучит более отчётливо: «В чём состояла эта болезнь не знали ни его брат, ни племянник, ни фельшер, которому показывали больного, ни сам больной. Впрочем больной и не желал знать этого» (Толстой. Т. 5; с. 166). Из сопоставления болезни с неясной этиологией и болезни имеющей устойчивую традицию воплощения открывается та же логика – истина не находится в руках человека. Всякая попытка определения болезни, попытка ответа на вопросы, привычные для кабинета врача (локализация боли, интенсивность, характер) является одновременно удалением от сущности происходящего события.

Больному необходимо внутренне переживать свой недуг, не вынося его на поверхность. Потому болезнь Фёдора представлена лишь чисто физиологичным, скудным и размытым описанием: «В груди больного что-то стало переливаться и бурчать; он перегнулся и стал давиться горловым, неразрешавшимся кашлем» (Толстой. Т. 5; с. 58); «Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на печи» (Толстой. Т. 5; с. 59). Внутреннее животное переживание закономерно открывает для него истину: «Смерть моя пришла – вот что» (Толстой. Т. 5; с. 59) (или в черновом варианте: «Он знал и говорил, что смерть его пришла и ничего больше»

(Толстой. Т. 5; с. 166)). Болезнь, смерть и красота – внутренние категории, никакому внешнему взгляду они недоступны.

Госпожа напротив – сосредоточена на окружающем и окружающих. Она бежит от собственного нутра, связывающего её с самими основаниями бытия: сначала к доктору, затем за границу, затем якобы к богу, затем к «простым лекарям». Больная не переживает своё существо: её болезнь, её смерть оказываются с ней разделёнными. Внутреннее движение идёт противоположно процессу болезни и смерти. А значит, вне постижения животного закона. Внешняя медиация подменяется внутренней, что выражается в моральной болезни «неприятия смерти», подобной тщеславию в патологической заикленности на самом себе.

Глава 3. Медицинский дискурс в романе «Война и мир»

3.1. Социальный аспект медицины в «Войне и мире»

Один из первых полноценных обзоров толстовских представлений о медицине принадлежит доктору Е. М. Идельсону. В 1910 г. он опубликовал речь под названием «Врачи и медицина в произведениях Л. Н. Толстого», произнесенную 6 февраля того же года на заседании Общества врачей при Императорском Казанском университете. Конечно, нужно отметить, что Идельсон походит к текстам Толстого с позиции врача. Свою речь он начинает так: «Въ ряду всѣхъ человѣческихъ знаній едва-ли найдется еще одна отрасль, которая такъ близко затрогивала бы интересы всѣхъ и каждого, какъ медицина» [Идельсон, 1910, с. 1]. Человеку, с его точки зрения, присуща «бесконечная привязанность к жизни» – «инстинкт самосохранения» – потому люди, неизбежно сталкиваясь с различными недугами, «всегда и везде» ищут помощи друг от друга: желают избавиться от недуга и, вместе с тем, «всегда имели и имеют поползновение» лечить других. Любопытно, что свою речь доктор завершает указанием на то, что именно в медицине есть потенциал к «водворению» в жизни «истинной, евангельской любви к ближнему». Впрочем, это высокое назначение врачебной науки осложнено: так как она «так близко затрагивает интересы всех и каждого», всякий считает себя вправе выносить компетентное суждение о самой науке и о врачах. Идельсон подкрепляет свое суждение ссылкой на богатую литературную традицию, в которой, по его мнению, «ни одна другая профессия не подвергалась так часто едкой сатире и злобным критическим насмешкам».

Стремление реабилитировать медицину, безусловно, накладывает определенный отпечаток на сам обзор произведений Толстого. Однако этот врачебный взгляд порой позволяет вполне справедливо отметить некоторые особенности медицинского дискурса в творчестве писателя. Идельсон пишет: «Врачи въ произведеніяхъ Толстого изображены далеко не центральными фигурами, принимающими то или другое активное участіе въ созиданіи окружающей обстановки, а скорѣе какъ побочный элементъ, какъ извѣстный

аксессуар, требующийся для полноты и цѣльности изображаемого жизненнаго строя» [Там же, с. 4]. Уже рассмотренные нами случаи (в предыдущих главах и в данной главе) подтверждают эту мысль только с небольшой оговоркой. Врачи Толстому-писателю совершенно не интересны и в то же время необходимы, но не для «полноты и цельности изображаемого жизненнаго строя»: как мы убедились, доктора в «Севастопольских рассказах»³² и, скажем, в «Набеге» выполняют абсолютно разные функции.

Особый интерес для нашего рассуждения представляет наблюдение Идельсона относительно «капитальных творений» Толстого: «Въ дальнѣйшихъ капитальныхъ твореніяхъ (Война и Миръ, Анна Каренина), въ которыхъ литературный талантъ Толстого достигъ аспе развитія, своего полного, художественнаго расцвѣта, *отношеніе художника къ изображаемымъ врачамъ носитъ на себѣ еще бѣльшій отпечатокъ индифферентности, съ примѣсью какого-то предвзятаго предубѣжденія и гдкаго сарказма*. Врачи здѣсь представлены торгашами-практиками, не обладающими ни одной симпатичной, человѣческой чертой, которая бы характеризовала ихъ личныя, индивидуальныя качества, ихъ личный, умственный и нравственный балансъ, по отношенію къ пользуемымъ больнымъ» (курсив наш. – В.М.) [Там же, с. 8]. Действительно, если до «Войны и мира» Толстого можно было «упрекнуть» лишь в несправедливом игнорировании того блага, что несет медицинская наука, или, во всяком случае, нельзя было определить однозначно отношение автора к врачеванию (на первый взгляд слишком далеки друг от друга герои-врачи в «Набеге», «Севастопольских рассказах», «Трех смертях» и «Казаках»), то уже в авторе романа-эпопеи можно увидеть «противника» этой науки.

В дневнике писателя за 3 января 1863 г. находим следующую запись: «Дорогой мне пришло в голову, что открытие законов в науке есть только открытие нового способа воззрения, при котором то, что прежде было

³²К слову, Идельсон подчеркивает, как разнятся описания обороны Севастополя в письмах Пирогова и в рассказах Толстого. Толстовские доктора, с его точки зрения, «бездушные, черствые специалисты». И так можно сказать, если не брать во внимание установку авторов: один осмысляет войну как «травматическую эпидемию», другой – как «эпидемию тщеславия».

неправильным, кажется правильным и последовательным, вследствие которого (нового воззрения) другие стороны становятся темнее. Мне понятно, что железо холодно, шуба тепла, солнце всходит, заходит, тело умрет, душа бессмертна. С новой же точки зрения я должен забыть про шубы и железо и не понимать, что такое шуба и железо, а видеть атомы, отталкивающие и притягивающие, так расположенные, что они делаются хорошими и дурными проводниками чего-то такого, называемого *тепло*, или забыть, что солнце все-таки всходит и заходит, и заря, и облака, и вообразить себе, что земля ходит и я с нею. (Многое я объясню на известном пути таким воззрением, но воззрение это не истина, оно односторонне.) В химии еще более. Или я забудь, что во мне душа и тело, а помни, что во мне тело с нервами. Для медицины – успех, для психологии – напротив» (Толстой. Т. 48; с. 51–52). Проблематика, обозначенная оппозицией воззрение – истина, находит впервые свое четкое выражение именно в год начала упорной работы над «Войной и миром». Наука, по Толстому, лишь способ смотреть на мир, для которого нужна некая точка, откуда направлен взгляд, обозначенная, к примеру, особым понятийным аппаратом (атом, проводник, нервы). Истина же тем характерна, что подобной «односторонностью» не обладает: она представляет собой целое (крайне важная для Толстого категория, о которой мы уже упоминали). Судя по всему, вместе с формированием определенных представлений о научном знании, у писателя вырабатывается вполне однозначное отношение к медицине, которое ранее только нащупывалось, нащупывалось как некий побочный результат. Любая наука представляет собой определенный взгляд, если пользоваться термином К. Касториадиса – «социальное воображаемое», и медицина не является исключением, а ее претензия на знание чего-то существенного «о жизни» с этой позиции должна вызывать лишь ироничную улыбку, о чем Толстой будет размышлять гораздо позже в труде «О жизни».

В романе-эпопее осмысление специфики научного знания находит свое продолжение непосредственно на примере медицины. «Маленький антимедицинский памфлет» (В. Паперный), «своего рода небольшая статья о

медицине» (Порудоминский) – так исследователи определяют короткое отступление от повествования о болезни Наташи Ростовой, обязательно цитирующееся почти в каждой работе, затрагивающей тему «Лев Толстой и медицина». Толстой пишет: «Доктора ездили к Наташе и отдельно, и консилиумами, говорили много по-французски, и по-немецки, и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней; но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которою страдала Наташа, как не может быть известна ни одна болезнь, которою одержим живой человек: ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь, не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и т. д., записанную в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений страданий этих органов» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 11; с. 66–67). Этот отрывок получил многочисленные трактовки. Так Идельсон считает, что Толстой либо превратно трактует «медицинские воззрения», либо попросту ничего не знает об истории развития «научной медицины», в которой, как отмечает доктор, всегда главным объектом «был и будет человек, а не отдельно взятая болезнь». Профессор Меве, напротив, отмечает, что в этом эпизоде писатель показал «эмпиризм современной ему медицины». Порудоминский, в свою очередь, подчеркивает, что в этой цитате одновременно можно обнаружить близость толстовской мысли к «аксиоме мыслящего врача» (лечить больного, а не болезнь) и убежденность в невозможности исцеления человека средствами медицины. Паперный, обращая внимание на уподобление докторов колдунам, заявляет: «Это уподобление медицины колдовству появляется у Толстого закономерно: как мыслитель, прошедший школу Просвещения, Толстой воспринимал медицину своей эпохи, оперировавшую архаическими мифологическими представлениями, как коллекцию предрассудков, – таких же, на каких основано и колдовство» [Паперный, 2014, с. 160].

Не вдаваясь в комментирование каждой из предложенных интерпретаций, скажем: эта идея – «каждый болеет по-своему» – тесно связана с логикой осмысления болезни и лечения в творчестве Толстого 1850-х гг. Доктора не могут понять эту толстовскую идею, потому что они верят в медицину, а она предлагает «односторонний» подход к проблеме, который заведомо не может привести к раскрытию «истинной» картины болезни. В этом смысле особенно интересно читать именно медицинскую критику болезни Наташи Ростовской: для того же Идельсона, например, диагноз в данном случае «слишком ясен», он наблюдает у девушки «эфемерную форму заболевания», связанную со «скандалом», случившимся «в период полового влечения». Для Толстого форма заболевания героини не «эфемерная». Любой взгляд со стороны не способен показать «истинную» картину сложных внутренних процессов, так как «целое» может ощущаться лишь в утрате точки наблюдения: оно в принципе не наблюдается, а именно ощущается или, лучше сказать, проживается.

Поэтому герои «Войны и мира» (в частности, Наташа и Пьер) выздоравливают не благодаря медицине, а вопреки: *«Несмотря на большое количество проглоченных пилюль, капель и порошков из баночек и коробочек, из которых madame Schoss, охотница до этих вещей, собрала большую коллекцию, несмотря на отсутствие привычной деревенской жизни, молодость брала свое: горе Наташи начало покрываться слоем впечатлений прожитой жизни, оно перестало такую мучительную болью лежать ей на сердце, начинало становиться прошедшим, и Наташа стала физически оправляться»* (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 11; с. 69); «Пьер, как это бóльшую частью бывает, почувствовал всю тяжесть физических лишений и напряжений, испытанных в плену, только тогда, когда эти напряжения и лишения кончились.<...>*Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он всё-таки выздоровел»* (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 12; с. 203). Врачебное вмешательство и избавление от недуга проходят в разных плоскостях. Так было и в ранних произведениях Толстого. Новым здесь становится «вопреки»: прежде толстовские врачи никак не влияли на ход болезни, хотя и могли причинять дополнительные

страдания, теперь они буквально своей «односторонностью» усугубляют положение больного.

Наиболее обстоятельно и полно толстовское осмысление медицины в «Войне и мире» было исследовано вышеупомянутым Паперым в статье «Антимедицинские мотивы в романе Льва Толстого “Война и мир”» (2014). Ученый рассматривает «антимедицинскую тему» в романе как комплекс мотивов, каждый из которых имеет серию вариаций. В своей работе он выделяет четыре основных мотива: мотив бессилия врачей, мотив алчности врачей, мотив вредности лечения и мотив социальной роли медицины.

Врачи, как отмечает Паперный, в романе Толстого часто попросту не могут определить болезнь. Возникает впечатление, что лечение они подбирают почти наугад. Если «каждый болеет по-своему», то нет никакого предсказуемого диагноза. Однако доктора на страницах «Войны и мира» всегда готовы его поставить: «Толстовские персонажи-врачи исходят из дожившей до XIX в. гуморальной теории, возникшей еще в античности. При этом они проявляют странную склонность повсюду видеть присутствие одного из четырех “гуморов” – желтой желчи (лат. “chole”), т. е. определять всех своих пациентов как холериков. Их диагнозы предстают поэтому как произвольные, заведомо ложные, бессмысленные и смешные» [Там же, с. 158–159]. Кроме того, бессилие врачей, с точки зрения исследователя, проявляется в страхе, который они испытывают, встречаясь лицом к лицу со смертью (например, в сценах операций в полевом госпитале). Этот страх свидетельствует о неспособности противостоять ей.

Особый интерес, как мы полагаем, представляет анализ автора статьи социального аспекта медицины в «Войне и мире». Паперный отталкивается в своих рассуждениях от следующей цитаты из «антимедицинского памфлета»: «Они (доктора. – В.М.) были полезны не потому, что заставляли проглатывать больную большею частью вредные вещества (вред этот был мало чувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве), но они полезны, необходимы, неизбежны были (причина – почему всегда есть и будут мнимые излечители, ворожеи, гомеопаты), потому что они удовлетворяли нравственной

потребности больной и людей, любящих больную. Они удовлетворяли той вечной человеческой потребности надежды на облегчение, потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания» (Толстой. Т. 11; с. 67). Врачи необходимы, как необходимы и неизбежны «мнимые излечители», но эта необходимость нравственная. Человек болеет и страдает, а потому он нуждается в сострадании – это некая потребность, коренящаяся в его «природе». Человек видит, как болеют и страдают другие, а потому в нем есть такая же «природная» потребность сострадать. Любопытно, что в похожем ключе рассуждает и доктор Идельсон, о котором мы упоминали выше. Только по его мысли в этих естественных потребностях скрывается возможность «водворения евангельской любви к ближнему», связанная, очевидно, с прогрессом в области медицины (как в плане методов лечения, так и в плане самой организации помощи). Толстой же в «Войне и мире» (и последующих художественных, философских и публицистических произведениях) относится к этому весьма скептически. Кроме того, вера в способность медицины избавлять от недугов таит в себе опасность нравственного падения, так как в самих страдании и сострадании Толстой видит потенциал нравственного преображения: не столь важно победить болезнь, сколь важно ее «прожить». Паперный справедливо отмечает: «Вместо того, чтобы прямо удовлетворить потребность больного в заботе, общество создает социальный институт целителей, к которому принадлежат как врачи, так и знахари и колдуны, и который удовлетворяет эту потребность с помощью целой системы условных, знаковых по своей природе действий» [Там же, с. 165–166]. За «знаковыми по природе действиями» не стоит ничего сущностного, но проблема заключается в том, что медицинская иллюзия, это «социальное воображаемое», претендует на место истины.

Медицина в «Войне и мире» – услуга доступная не для всех. Она является показателем социального расслоения. Врачи в романе посещают исключительно богатые дома. Функции, которые они при этом выполняют, не связаны с лечением. В статье Паперного на этот счет есть интересное мнение, которое мы разделяем: «Одна из важнейших ритуальных функций врачей у Толстого –

сопровождение перехода русского аристократа из мира живых в мир мертвых» [Там же, с. 167]. Яркая сцена такого «перехода» – смерть графа Безухова. Во-первых, обратим внимание на то, как Толстой подводит к ней читателя: «В то время как у Ростовых танцевали в зале шестой *англез* под звуки от усталости фальшививших музыкантов, и усталые официанты и повара готовили ужин, с графом Безуховым сделался шестой удар» (Толстой. Т. 9; с. 84). Мы полагаем, в этом странном текстовом «соседстве» «шестого англеза» и «шестого удара» за внешним контрастом танца и смерти скрывается их внутреннее сходство. Речь идет о сходстве восприятия. «Переход русского аристократа из мира живых в мир мертвых» поднимает щекотливый вопрос наследства. Экзистенциальная проблематика в сцене уходит на второй план для подавляющей части ее участников и наблюдателей.

Интересно в этом смысле само слово «удар». Пьер, герой абсолютно непонимающий «знаковой» стороны происходящего, полностью полагающийся на свою руководительницу (Анну Михайловну), сидящий от этого непонимания «в наивной позе египетской статуи», воспринимает его не как болезнь, а буквально: «Пьер был в таком состоянии неясности мысли, что *при слове “удар” ему представился удар какого-нибудь тела*. Он, недоумевая, посмотрел на князя Василия и уже потом сообразил, что ударом называется болезнь» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 9; с. 95). Удар как диагноз – слово из медицинского лексикона, которое, прежде всего, используют врачи. В сцене оно становится своеобразным сигналом, знаменующим начало ритуала и, одновременно, борьбы за наследство. Работа доктора во многих сценах романа лишь элемент ритуала. Окружающие ждут, когда доктор Лоррен, даст сигнал, знаменующий начало ритуала. А он, в свою очередь, нисколько не гнушается этой роли: «– Сегодня ночью, не позже, – сказал он тихо, с приличною улыбкой самодовольства в том, что ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел» (Толстой. Т. 9; с. 86). То, что могло бы дополнять медицинскую работу Лоррена, становится в нем, как докторе, определяющим.

Социальный аспект толстовского восприятия медицины, косвенно затронутый еще в «Трех смертях», впервые полноценно раскрылся в «Войне и мире». Больной по-прежнему остается один на один со своей болезнью. Однако доктор, оставаясь «лишним» в экзистенциальном плане, становится значительным – в социальном. Причем вместе с этой эволюцией нарастают опасения, связанные с нравственным вредом, который несут представители медицинской науки, вытесняющие потенциал, заложенный в страдании больного и сострадании к нему окружающих. То откровенное неприятие медицины, которое ярко отразится в произведениях Толстого 1870–1880-х гг. зарождается в «Войне и мире». Вместе с тем, именно в этом тексте стоит искать предпосылки просветительской работы писателя в области пропаганды медицинских знаний, развернувшейся в издательстве «Посредник».

3.2. Специфика военной медицины в «Войне и мире»

Серьезно размышлять над высказываниями Толстого о медицине, пишет В. Порудоминский, стоит лишь в том случае, если мы поняли, что нужно пытаться пробиваться «по радиусу» к центру, к системе мировоззрения писателя. Все, чем он действительно интересуется, что можно найти в его художественных, публицистических или философских произведениях, в дневниках и письмах, существует не само по себе, а под влиянием этого центра движется вокруг, словно по орбите. Эта особенность осложняется внутренним движением. В центре действует энергия, названная самим Толстым «энергией заблуждения», заставляющая постоянно перемещаться и искать. В. Шкловский справедливо отмечает: «Энергия заблуждения – энергия свободного поиска – эта энергия никогда не оставляла Толстого» [Шкловский, 1981, с. 33]. Поэтому Толстой может ругать медицину и вместе с тем называть участь Маковицкого, уехавшего в дальнюю деревню к больному, «завидной».

Кроме того, медицина не воспринимается Толстым целостно, как один объект. Лекари из народа и доктора в «Казаках» наделены контрастными характеристиками: одни действительно лечат своего пациента, а другие делают

его «не-человеком». На страницах «Войны и мира», к слову, все меняется. Между официальной медициной и альтернативными практиками лечения нет никакой разницы, так как их польза (если она вообще есть) только нравственная. Все врачующие – «мнимые излечители». В совершенно иной плоскости (на иной «орбите») находится военная медицина. Как мы показали в предыдущей главе, ужасные картины перевязочного пункта представляют собой «эссенцию» того, что происходит на поле боя. Военная медицина у Толстого связана с именно с войной, а не с медициной. То есть важно не только постоянно пробиваться «по радиусу» к центру, движимому «энергией заблуждения», но и учитывать, при каких условиях «орбита» сформировалась.

Паперный, анализируя мотив бессилия врачей в романе, не рассматривает военную медицину как нечто обособленное. По мысли ученого, служители Панацеи у Толстого в бессилии перед смертью испытывают страх, а сама наука, перед которой они преклоняются, состоит в том, чтобы убивать: хирурги на войне буквально режут тела, а терапевты в мирных условиях травят людей вредными лекарствами. Мы полагаем, что однозначно объединять сцены лечения на войне и в домах знатных пациентов не стоит, потому что при ряде пересекающихся черт внутренняя логика в них сущностно отличается. Об этом, в частности, пишет Порудоминский, проводя аналогию между противопоставлениями «людей серьезного отношения к жизни» светскому обществу и военных врачей «светским»: «Как светскому обществу противостоят в “Войне и мире” люди дела и долга, люди внимательного, серьезного отношения к жизни, так врачам “светским”, обслуживающим богатых, именитых пациентов, противостоят военные врачи, действующие на полях сражений» [Порудоминский, 2012, с. 174].

После Фридландского сражения Николай Ростов отправляется в госпиталь к Денисову, раненному в «мякоть верхней части ноги» во время рекогносцировки. Это лечебное заведение находится в «маленьком прусском местечке», дважды разоренном русской и французской армией и представляющем «мрачное зрелище»: «Именно потому, что это было летом, когда в поле было так хорошо, местечко это с своими разломанными крышами и заборами, загаженными

улицами, оборванными жителями и пьяными или больными солдатами, бродившими по нем, представляло особенно мрачное зрелище» (Толстой. Т. 10; с. 133). Главными признаками «местечка» являются разорение, разруха и беспорядок, представляющие собой один из результатов войны. «Особенно мрачным» его делает время, «когда в поле так хорошо»: в этом локусе на фоне дышащей здоровьем, наполненной жизненной силой природы так отчетливо проявляются симптомы болезни³³. Само здание госпиталя соответствует общему виду «местечка»: каменный дом с частично выбитыми рамами и стеклами, вокруг которого валяются остатки забора и сидят «бледные и опухшие» солдаты.

По мере продвижения вглубь госпитального пространства черты «зрелища» меняются. Появляется запах, усиливающийся вследствие приближения к сердцевине: «Как только Ростов вошел в двери дома, его обхватил запах гниющего тела и больницы» (Толстой. Т. 10; с. 133). В коридоре он буквально заставляет Николая остановиться: герой хватается за нос и некоторое время приходит в себя. Место, источающее ужасный запах «мертвого тела», — солдатские палаты. Толстой описывает их так: «В длинной комнате, ярко освещенной солнцем в большие окна, в два ряда, головами к стенам и оставляя проход по середине, лежали больные и раненые. Большая часть из них были в забытии и не обратили внимания на вошедших. Те, которые были в памяти, все приподнялись или подняли свои худые, желтые лица, и все с одним и тем же выражением надежды на помощь, упрека и зависти к чужому здоровью, не спуская глаз, смотрели на Ростова» (Толстой. Т. 10; с. 134–135). Разрушение строений, того, что было создано человеком, продолжает разрушение самого человека (гниение тел, забытие). Интересно, что в тексте в обоих случаях присутствует другой полюс: «изувеченному» «местечку» противопоставлено

³³Порудоминский подмечает, что в «календаре Толстого» лето связано, прежде всего, с перерывами в писательской работе, деревенскими заботами и крестьянским трудом [Порудоминский, 2012, с. 191–193]. А в одном из писем к Фету сам писатель признается, что в это время года он «ошалевает от радости плотской жизни»: «Теперь лѣто и прелестное лѣто, и я, какъ обыкновенно, ошалѣваю отъ радости плотской жизни и забываю свою работу. Нынѣшній годъ долго я боролся, но красота міра побѣдила меня. И я радуюсь жизнью и больше почти ничего не дѣлаю» (Толстой. Т. 63; с. 19).

поле, а раненым и больным здоровый Ростов. Здоровье возмутительно, потому что оно больше не норма. Толстой, идеализирующий растительную жизнь, особенно восхищается способностью растений умирать спокойно, открывая дорогу новому рождению, как это было в «Трех смертях». Госпиталь – пространство смерти, не дающее дорогу новой жизни.

Об этом говорит Ростову военный русский доктор еще при входе в госпиталь: «– Вы зачем, ваше благородие? – сказал доктор. – Вы зачем? Или пуля вас не брала, так вы тифу набраться хотите? *Тут, батюшка, дом прокаженных.*

– Отчего? – спросил Ростов.

– Тиф, батюшка. *Кто ни взойдет – смерть.* Только мы двое с Макеевым (он указал на фельдшера) тут треплемся. Тут уж нашего брата докторов человек пять перемерло. Как поступит новенький, через недельку готов, – с видимым удовольствием сказал доктор. – Прусских докторов вызывали, так не любят союзники-то наши» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 10; с. 133). Нужно отметить, что тиф (typhus) в начале XIX в. называли «гнилой горячкой». В качестве примера приведем отрывок из работы доктора Я. В. Виллие, занимавшегося, в частности, организацией военной медицины в России, «О желтой американской горячке» (1805)³⁴: «Заразы суть двухъ родовъ между собою весьма различныхъ. Первый родъ заключаетъ въ себѣ заразительныя болѣзни отъ повсемственныхъ повѣтрій раждающіяся, которыя черезъ извѣстное время свирѣпствуютъ, а потомъ, по уничтоженіи причинъ имъ споспѣшествующихъ, утихаютъ совершенно... Сюда вообще относятся гнилыя горячки, называемыя въ особенности тюремными, гошпитальны, корабельными, которыя зараждаются либо отъ вредоносныхъ испареній болотистыхъ водъ; либо отъ весьма стѣсненнаго въ малыхъ покояхъ или хижинахъ народа» [Виллие, 1805, с. 57–58]. Под «гнилой горячкой» подразумевается собирательное название ряда заразных («повальных») заболеваний, этиология которых до появления и утверждения к

³⁴Кроме указанного сочинения Виллие в это время выходит целый ряд работ о горячке. Укажем здесь некоторые из них: «О гошпитальной горячке» (1811) Я. Д. Щиrowsкого, «Теория и способ лечения нервной повальной горячки, с прибавлением мнения о заразительных болезнях» (1812) Я. И. Говорова, «О гнилой и нервной горячке» (1813) С. Ф. Гаевского.

концу XIX в. микробной теории объяснялась существованием миазмов, особых пахучих веществ, отравляющих организм при вдыхании. Виллие, отметим, слово миазм не употребляет. Вместо него он пишет о «недыхательных гасах» («водотворном», «удушливом» и «угольной кислоты»), появляющихся вследствие брожения растений и гниения животных. При этом вредны и «испарения», исходящие от больных и здоровых людей: организм забирает полезные вещества и «извергает» вредные, потому «рассадником» «гнилой горячки» становятся госпитали, тюрьмы и корабли. В России второй половины XIX в. теория миазмов еще жива. В научно-популярном издании доктора П. В. Андреевского (Ландсберга) «Как предохранить себя от тифа. Тиф и тифоиды. Пятнистый и кишечный тиф; возвратная горячка; желчный тифоид; холерный и скарлатинный тифоиды. Их происхождение, распознавание, предохранение и лечение» (1878) почти дословно повторяются отмеченные нами положения из работы Виллие с той небольшой поправкой, что «гнилая горячка» в ней названа «тифом», а «гасы» – «миазмами». Очевидно, что Толстой не мог не знать об этом заболевании и само слово, возможно, использовал по памяти о событиях в Севастополе, где сыпной тиф был заметной проблемой в атакующей и обороняющейся армиях³⁵. Подчеркнем, что аспект заражения в черновиках был выражен отчетливее, кроме процитированной фразы доктор после объяснения Ростовым цели посещения госпиталя добавлял: «– Тут, батюшка, раненых нету, у нас хоть и раненый, сейчас тифозным делается, да и не знаешь всех. Ведь вы подумайте, у меня на одного три гошпиталя, четыреста больных с лишним. Я отчисляю в умершие, за этим дело у нас не стоит, тиф помогает, а мне всё новеньких присылают. Ведь четыреста есть, а? – обратился он к фельдшеру» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 13; с. 636). Раненый, попадая в палаты, находясь там длительное время, не может не заразиться тифом, а это значит, что он практически обречен на смерть. То, что не довершилось в сражениях, довершается в госпитале.

³⁵См. об этом в статье Н. Г. Чigareвой «Сыпной тиф эпидемический – болезнь войны, разрухи, нищеты» (2022).

В черновом варианте ужас, увиденный Ростовым в солдатских палатах, был выписан менее отчетливо. Поначалу Толстой уделил описанию пациентов, их быта всего три предложения. Причем он не концентрировался на ком-то конкретно: «Одни умирали, только хрипением показывая признаки жизни, другие метались в жару, толкая друг друга, третьи слабыми, горячечными глазами смотрели на проходящего мимо их здорового, свежего и чистого человека» (Толстой. Т. 13, с. 636). Однако позже вся сцена в госпитале была значительно переработана: само слово «ужас», упоминавшееся в черновой версии, было убрано, а авторское внимание полностью сконцентрировалось на «диалектике души» героя, особую роль при этом стал играть запах гниения, «запах мертвого тела», красной нитью проходящий через всю главу (том второй, часть вторая, глава XVII). Врачи-современники Толстого говорили бы здесь о миазмах. Военный русский доктор предостерегает Ростова, неоднократно напоминая ему об угрозе заражения. Физически Николаю удастся избежать его избежать. Но запах преследует, напоминая о себе во время торжества в Тильзите так, что герой оглядывается в поисках его источника.

В заполненной больными и ранеными палате Ростов обращает особое внимание на находящегося при смерти казака и молодого солдата, лицо которого уже покрыто восковой бледностью. Вообще Толстой склонен подробно описывать состояния человека на границе между жизнью и смертью или (и) сразу после смерти. Причем в фокусе находится и сам умирающий, и тот, кто наблюдает «великое зрелище», силясь понять его значение. В казаке Толстой подчеркивает внутреннее напряжение: багрово-красное лицо, закаченные глаза, еще красные руки и ноги, на которых «жилы напряжились как веревки». Глаза его не обращены в мир, а направлены в себя, туда, где что-то вот-вот разорвется, лопнет. Молодой солдат также «с закаченными под веки глазами» уже лишен всякого напряжения. Все эти изменения, наблюдаемые в теле, непроницаемы для наблюдателя. Соответственно мертвый среди живых не только, источая миазмы, заражает окружающих тифом. Совершенно не в телесном плане заразительно

небытие. Следы такого «заражения» есть, к примеру, в докторе, «с видимым удовольствием» рассказывающим Ростову о царящей в госпитале смерти³⁶.

Во время Бородинского сражения Андрей Болконский получает ранение, после чего его на носилках уносят на перевязочный пункт. Полк князя Андрея, напомним, во время артиллерийского обстрела находится на «стоптанном овсяном поле» между Семеновским и курганной батареей, где в этот день «были побиты тысячи людей». Сам Болконский в ожидании ходит по примыкающему к полю лугу от межи до межи, стараясь попадать в следы косцов. Место и время вновь вызывают ассоциации с работой и созиданием противопоставленные происходящему разрушению. Перевязочный пункт по описанию несколько отличается от госпиталя, но логика его функционирования аналогична. Здесь продолжается то, что начато на поле боя.

Доминирующим признаком расположенного на краю березняка перевязочного лагеря становится уже не запах гниения или запах «мертвого тела», а кровь и различные звуки от крика до стога: «Воронья, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах. <...> Раненые, ожидая у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки. Некоторые бредили» (Толстой. Т. 11; с. 255). Естественно, еще больше крови, ещё ужаснее звуки – внутри палаток, где врачи, с окровавленными руками и фартуками проводят операции. Князь Андрей и вовсе видит лишь одно «обнаженное, окровавленное человеческое тело»: «Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую

³⁶ Вряд ли можно считать подобное поведение следствием жестокости. Это скорее помешательство от невыносимых условий, что косвенно подтверждает черновой вариант разговора доктора с Ростовым: «– Вы зачем, али пуля вас не брала, так вы тифу набратся хотите? Тут, батюшка, дом прокаженных, кто ни взойдет – смерть. Только мы двое с Макеевым (он указал на фельдшера) еще тут трепемся. Тут уж нашего брата докторов человек пять перемерло: как поступит – через недельку готов. Прусских докторов вызывали, так не любят союзники то наши, – и словоохотливый доктор засмеялся таким смехом, который показывал, что ему не только теперь, но и никогда не хотелось смеяться» (Толстой. Т. 13; с. 636).

палатку, как несколько недель тому назад в этот жаркий, августовский день, это же тело наполняло грязный пруд по Смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая *chair à canon*» (Толстой. Т. 11; с. 256). Подобно тому, как это было в «Севастопольских рассказах», в «Войне и мире» война угрожает целостности человека³⁷. Мы уже писали о том, что до середины XIX в. основным методом борьбы с ранениями конечностей была ампутация. Толстой воспринимает ее не в аспекте спасения жизни. Она есть продолжение разрушительного действия войны, низводящего человека до «пушечного мяса». Именно в госпитале и на перевязочном пункте вне непосредственного противостояния двух армий это становится очевидно. Лишь в этом, по Толстому, можно признать терапевтическое значение военной медицины.

Отметим, что перевязочный пункт, а вернее «зрелище», происходящее в этом месте, притягивает наблюдателей: «Вокруг раненых, с унылыми и внимательными лицами, стояли толпы солдат-носильщиков, которых тщетно отгоняли от этого места распорядившиеся офицеры. Не слушая офицеров, солдаты стояли, опираясь на носилки, и пристально, как будто пытаясь понять трудное значение зрелища, смотрели на то, что делалось пред ними» (Толстой. Т. 11; с. 255). Солдаты-носильщики, судя по всему, испытывают нечто подобное тому, что испытал в солдатских палатах Николай Ростов. Небытие действует заразительно. Но и здесь только симптомы, а не сама болезнь.

Доктора и фельдшеры на войне выглядят совершенно иначе, чем в светском обществе. Начнем с того, что в тексте постоянно отмечается их физическая и

³⁷ Находясь в Севастополе, Толстой однажды запишет в дневник: «Очень очень мало написалъ въ эти дни юности и Севастополя; насморкъ и лихорадочное состояніе были тому причиною. Кромѣ того меня злитъ – особенно теперь, когда я болѣнъ – то, что никому въ голову не придетъ, что изъ меня можетъ выйти что нибудь, кромѣ *chair à canon*, и самой бесполезной» (Толстой. Т. 47; с. 41). Как видно из приведенного отрывка, писатель примеряет на себя роль «пушечного мяса», роль, вменяемую со стороны и унижающую, а оттого – внутренне неприемлемую. Особенности физического состояния (лихорадка, насморк) усиливают его злость: телесные страдания не только помогают преобразиться, но иногда и угнетают тем, что замыкают на себе.

моральная усталость от работы³⁸. Первое появление одного из докторов на перевязочном пункте описано так: «Доктор этот поднял голову и стал смотреть по сторонам, но выше раненых. Он очевидно хотел отдохнуть немного. Поводив несколько времени головой вправо и влево, он вздохнул и опустил глаза» (Толстой. Т. 11; с. 256). Раненые прибывают постоянно, только один полк князя Андрея, еще находясь под сильным артиллерийским огнем «в резервах» у Семеновского, теряет более двухсот человек. Фельдшеры на перевязочном пункте и вовсе не имеют времени на отдых, так как между операциями они должны успевать носить воду и мыть столы. О «четырёхстах больных с лишком» и их постоянном пополнении говорит Николаю Ростову доктор, с которым он встречается в госпитале. «Измученный вид» имеет и фельдшер, взявшийся проводить героя к Денисову. Медицина на войне у Толстого предстает не как спектакль, а как тяжелая работа. Вокруг военных врачей всегда большое количество пациентов. В светском обществе все иначе: пациент, как правило, группа докторов.

Доктора вне войны больше сидят или произносят речи, чем работают с телом пациента. А если работают, то все это принимает вид какого-то несерьезного занятия. Во всяком случае, именно в таких положениях чаще всего их изображает Толстой. Ранее упоминавшийся нами Лоррен, к примеру, уже после объявления о том, что граф Безухий находится в безнадежном положении, «в грациозной позе сидит под портретом Екатерины», то говоря о погоде и Москве, то прогнозируя время смерти. Доктора Наташи Ростовской собирают целые консилиумы и долго пытаются определить ее болезнь, прописывают «самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней» и не могут подобрать нужного лечения. Один из них даже ежедневно приезжает к больной и осматривает ее: «Доктор ездил каждый день, щупал пульс, смотрел язык и, не обращая внимания на ее убитое лицо, шутил с нею. *Но за то, когда он выходил в другую комнату, графиня поспешно выходила за ним, и он, принимая серьезный*

³⁸ Отметим, что в черновом варианте употребляется само слово «работали»: «Шесть человек докторов в фартуках, все в крови и в поту, работали» (Толстой. Т. 14; с. 123).

вид и покачивая задумчиво головой, говорил, что хотя и есть опасность, он надеется на действие этого последнего лекарства, и что надо ждать и посмотреть; что болезнь больше нравственная, но...» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 11; с. 68). Получается какая-то «игра во врача», которую он сам осознает, но за это он получает денежное вознаграждение. Доктор Пьера, делая вид, будто каждая его минута «драгоценна для страждущего человечества», часами рассказывает своему пациенту «любимые истории и наблюдения над нравами больных вообще и в особенности дам».

На страницах романа можно найти много подтверждений тому, что медицина – это сплошной обман. Доктора ничего не знают ни о жизни и смерти, ни о болезни и о действенных способах ее лечения, но заявляют том, что таким знанием обладают. Об этом открыто высказываются герои, эту мысль закладывает автор в «антимедицинский памфлет», на это указывают авторские характеристики героев. Но в «военных» эпизодах ничего подобного нет.

В. Паперный считает, что медицина в романе Толстого является одним из проявлений насилия над человеческим телом, которое автор «абсолютно и безоговорочно осуждает». Приходит ученый к такому выводу, анализируя, прежде всего, ту сцену, в которой доктора в одной из палаток перевязочного пункта оперируют татарина, Анатоля Курагина и Андрея Болконского. Татарину «режут что-то в спине». Первоначально Толстой пишет конкретнее: «Это был татарин-солдат с коричневой голой спиной, из которой ему вырезали пулю» (Толстой. Т. 14; с. 123). Анатолю ампутировали «красную» ногу. Андрею удаляют разбитые кости бедра и отрезают «клоки мяса». Это «зрелище» сопровождается визгом, стонами, рыданиями самих страдальцев. Но смысл не в том, чтобы показать «медицинское насилие». Военные врачи, удаляя уже раздробленные кости, вытаскивая пули, ампутуя конечности, фиксируют те нарушения тела, которые уже произошли. Никто из них, в отличие от «светских» коллег, не кичится своим знанием. «Военный русский доктор» говорит Ростову не о своих способностях во врачевании, о методах лечения тифа, а о смерти, царящей в стенах госпиталя. Военная медицина в «Войне и мире» (подобно тому, как это

было в «Севастопольских рассказах») делает «выпуклым» то, что в сражениях принято не замечать³⁹.

После операции, как только Андрей Болконский приходит в себя, доктор «целует его в губы». Этот неоднозначный эпизод получил различные трактовки. Идельсон видит в этом поступке «проявление рабского низкопоклонства и угодничества»: «На этот поцѣлуй никоимъ образомъ нельзя смотрѣть, какъ на выраженіе нѣжнаго сердечнаго участія врача къ раненому, а скорѣе какъ проявленіе рабскаго низкопоклонства и угодничества передъ важнымъ бариномъ со стороны нарицательнаго врача, который въ очеркахъ “Севастополя” представлень такимъ суровымъ и холоднымъ въ обращеніи съ простыми ранеными изъ обыкновенныхъ смертныхъ» [Идельсон, 1910, с. 10–11]. С одной стороны, Толстой в «Войне и мире» неоднократно показывает, что для медицины не существует больного вообще, что она очень зависима от социального расслоения. Вокруг знатных пациентов всегда много врачей. За их «спектакль» в домах аристократов, как правило, щедро платят⁴⁰. В госпитале есть разделение на солдатские и офицерские палаты, условия в которых просто несопоставимы. А князя Андрея несут на операцию вне очереди, что вызывает среди других раненых ропот: «– Видно и на том свете господам одним жить, – проговорил один» (Толстой. Т. 11; с. 256). С другой стороны, поцелуй в губы нигде в романе не выражает «низкопоклонство и угодничество». Кроме того, неочевидна выгода доктора от этого поступка: поток раненых не кончается, а потому он «спешно отходит» от пришедшего в сознание Болконского, не ожидая какой-либо платы.

Порудоминский придерживается иной интерпретации: «Этот доктор – о нем дальше несколько строк всего – написан выразительно и любовно. В этих нескольких строках нам открывается его опыт, умение, душевность, его

³⁹Так вне поля зрения «людей полка» князя Андрея находятся смерть, страдание и боль: «Когда ранило и убивало людей, когда тянулись носилки, когда наши возвращались назад, когда виднелись сквозь дым большие массы неприятелей, никто не обращал никакого внимания на эти обстоятельства. Когда же вперед проезжала артиллерия, кавалерия, виднелись движения нашей пехоты, одобрительные замечания слышались со всех сторон» (Толстой. Т. 11; с. 252)

⁴⁰Один мотив из комплекса «антимедицинских мотивов» в «Войне и мире» Паперный называет «мотивом алчности врачей» [Паперный, 2014, с. 161–162].

сочувствие больному» [Порудоминский, 2012, с. 175]. В черновиках есть некоторое подтверждение этому, выражающееся в прямой авторской характеристике доктора: «Один из них с добрым лицом подошел к нему и молча поцеловал его в губы» (Толстой. Т. 14; с. 413). Логика поступка явно не была связана с лицемерием. Впрочем, о том, почему именно этот доктор «написан» так, Порудоминский не рассуждает. Мы полагаем, что возможное объяснение нужно строить исходя не из героев, но из «зрелища», «трудное значение» которого пытаются понять «солдаты-носильщики».

Смысловой центр всей главы – переживание князем Андреем страдания, а затем «блаженства, давно не испытанного им», в котором прошлое и настоящее для него сливаются в одно – действительность. Перемена в ощущении времени происходит одновременно с открытием истины любви, «которую проповедовал бог на земле». Нечто похожее происходит в толстовских снах. Событие, приводящее к пробуждению, размышляет Толстой в трех дневниковых записях за 15, 16 и 17 сентября 1909 г., часто «подготавливается» увиденным во сне: «Этот обман времени имеет, по моему мнению, оч[ень] важное значение. А именно то, что *времени нет, а что нам представляется всё во времени только п[отому], ч[то] таково свойство нашего ума*. Точно тот же обман происходит и в том, что мы называем действительной жизнью. Только с той разницей, что от того сновидения мы проснулись, а от жизни проснемся только при смерти» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 57; с. 140). Так пробуждается Пьер, для которого слова берейтора («запрягать надо») «подготавливаются» словами масона («сопрягать надо»). Так пробуждается князь Андрей к «истинной жизни». Поцелуй доктора имеет связь именно с этим переходом от профанного к сакральному. А пространство перевязочного пункта становится не только пространством смерти, но и – пробуждения. «Светская» медицина по этому признаку бесконечно далека от военной.

Насмотревшись ужасов в солдатских палатах, Николай Ростов, наконец, попадает в офицерские. Обстановка здесь отличается: нет мертвых тел; пациенты лежат не на полу, а на кроватях; в одной из комнат слышен смех. Хотя остаются и

общие признаки госпиталя: героя встречает «худой человек без руки» (Тушин), в лице Денисова есть «бледная опухлость», свойственная всем «гошпитальным лицам». Впрочем, здесь Толстой фокусируется не столько на обстановке, сколько на самом Денисове.

В госпитале он сильно изменился. И дело не в ране, которая была «ничтожной». В нем происходит какое-то внутреннее нарушение, симптоматично проявляющееся в поведении, а особенно – в мимике, голосе и интонации: «...Ростов с грустью заметил, как с этою привычною развязностью и оживленностью *какое-то новое дурное, затаенное чувство проглядывало в выражении лица, в интонациях и словах Денисова*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 10; с. 137); «Но не это поразило Ростова; его поразило то, что Денисов как будто *не рад был ему и неестественно ему улыбался*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 10; с. 137); «... сказал Денисов *голосом*, которому он хотел придать прежнюю энергию и горячность, но который *звучал бесполезною раздражительностью*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 10; с. 137); «Он не договорил и *улыбнулся болезненно-фальшивою улыбкой*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 10; с. 138).

В этой неестественности, фальшивости, в попытках вести себя как прежде раскрывается неспособность Денисова быть собой. При этом он замыкается в себе: «Ростов заметил даже, что Денисову неприятно было, когда ему напоминали о полке и вообще о той, другой, вольной жизни, которая шла вне госпиталя» (Толстой. Т. 10; с. 137). Жизнь полка, «общий ход дела», недавно прошедшее Фридландское сражение его не интересуют. Более того – Ростову кажется, что Денисов «старается забыть» все это. Похожие изменения наблюдались в героях «Севастопольских рассказов», зараженных тщеславием: их предельная фиксация на себе есть одновременно утрата себя в чужом желании, утрата подлинного бытия. Смерть от ранения и болезни, которая проявляется в увечьях и «запахе мертвого тела», идет нога в ногу с фальшивой жизнью.

Денисов зациклен на «деле с провиантскими чиновниками». К апрелю 1807 г. из Павлоградского полка выбывает почти половина личного состава из-за

голода и болезней и только двое вследствие ранений. Отступление по уже разоренным землям, невозможность доставки провианта по «непроездным» дорогам и само качество провианта вынуждают голодных солдат питаться корнем «похожего на спаржу растения», который они называют «сладкий машин корень». Весной же в полку появляется новая болезнь – «опухоль рук, ног и лица». Медики видят в «машкином корне» причину болезни и запрещают его, но запрет никак не действует на солдат. Неравнодушный к страданиям подчиненных (к тому же вспыльчивый) ротмистр после очередного известия о нарушении приказа решает проблему радикально, отбив с гусарами провиант, предназначенный для пехотного полка. Однако само это происшествие внутренне Денисова не меняет.

Его поступок мотивирован не соперничеством, о чем свидетельствует его поездка в штаб с целью «уладить дело». Выходя из землянки, он говорит: «– Суди меня там бог и великий государь!» (Толстой. Т. 10; с. 129). «Бог» и «великий государь» являются для него образцами. Для него и почти для всех военнослужащих. Лучше всего об этом скажет Николай Ростов на празднике в Тильзите: «– Мы не чиновники дипломатические, а *мы солдаты и больше ничего*, – продолжал он. – *Умирать велят нам – так умирать. А коли наказывают, так значит – виноват; не нам судить.* Угодно государю императору признать Бонапарте императором и заключить с ним союз – значит так надо. *А то, коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни Бога нет, ничего нет*, – ударяя по столу кричал Николай, весьма некстати, по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 10; с. 151). Дистанция между «богом» и «великим государем» и «солдатами» непреодолимая. Это образцы, о которых принято говорить открыто, следовать которым не зазорно. В них сосредоточены лучшие качества в высшей их степени. Перед тем, как передать прошение Денисова о помиловании императору, Николай думает так: «Он всё понимает, всё знает. Кто же может быть справедливее и великодушнее его?» (Толстой. Т. 10; с. 143). Взгляд государя, как то кажется

Ростову, источает свет. Возвращаясь к терминологии Жирара, можно с уверенностью утверждать, что все это типичные черты внешней медиации.

Денисов здоров ровно до того момента, как он встречает на своем пути Телянина, служащего в это время комиссионером. Именно здесь происходит заражение и переключение медиации с внешней на внутреннюю. Вопрос чести не существует, пока не произошла эта перемена. Как только медиатор оказывается в достигаемом в духовном плане, начинается соперничество, в котором «Я» испытывает заразительное влияние «Другого».

О Телянине в романе говорится мало. В 1805 г. он служил в одном эскадроне с Денисовым и Ростовым. Перед походом его «за что-то перевели из гвардии». Характерной его чертой является то, что он никому не нравится, его присутствие невольно вызывает отвращение: «Он держал себя очень хорошо в полку; но *его не любили*, и в особенности *Ростов не мог ни преодолеть, ни скрывать своего беспричинного отвращения* к этому офицеру» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 9; с. 157); «Увидав Ростова, *Денисов сморщился* и, указывая через плечо большим пальцем в комнату, в которой сидел Телянин, *поморщился и с отвращением тряхнулся*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 9; с. 158); «“Бывают же такие противные лица”, подумал Ростов, входя в комнату» (Толстой. Т. 9; с. 158). Можно сказать, что Телянин, подобно мертвому телу, лежащему в солдатских палатах, источает миазмы, отравляющие окружающих. Красноречива его частая смена мест службы: от этой «заразы» все стараются избавиться. Внутренняя медиация развивается подобно эпидемии, а потому разумно обезопасить себя от столь заразного субъекта.

Телянин – человек патологически алчный. Он продает Ростову лошадь за 700 рублей, хотя она «не стоит и половины этой цены». Его исключение из Павлоградского полка связано с кражей кошелька Денисова, а сам поступок охарактеризован как болезнь: «– Ну, ваша воля, – сказал штаб-ротмистр. – Чтò же, мерзавец-то этот куда делся? – спросил он у Денисова.

– Сказался больным, завтра велено приказом исключить, – проговорил Денисов.

– Это болезнь, иначе нельзя объяснить, – сказал штаб-ротмистр.

– Уж там болезнь не болезнь, а не попадайся он мне на глаза – убью! – кровожадно прокричал Денисов» (Толстой. Т. 9; с. 165).

Как «работает» эта болезнь, подробно не описано, но есть небольшие симптомы, помогающие понять механизм. Дело в том, что Телянин не просто ворует, но делает это так, что Ростов, спрятавший по просьбе Денисова кошелек под подушку, невольно попадает под подозрение. Лакей Лаврушка даже предлагает Николаю «посмотреть в карманах», объясняя произошедшее забывчивостью юнкера. Кошелек найти не удастся. Взгляды падают на того, кто последний раз держал его в руках. Особенно красноречив взгляд эскадронного командира: «Ростов почувствовав на себе взгляд Денисова, поднял глаза и в то же мгновение опустил их. Вся кровь его, бывшая запертою где-то ниже горда, хлынула ему в лицо и глаза. Он не мог перевести дыхание» (Толстой. Т. 9; с. 159). Ростова задевает не акт воровства, с которым Денисов должен был бы разбираться самостоятельно, ведь кошелек принадлежал ему, а подозрения. Именно поэтому Ростов, выведя Телянина на чистую воду, не забирает деньги, а идет к полковому командиру, чтоб доложить об «этой пакости».

Телятин, будучи алчным, стремится выглядеть хорошо на людях. То неприятное, что чувствуют в нем другие не сама алчность, а желание казаться лучше. Та болезнь, миазмы которой он источает, – тщеславие. Ростов, еще недавно исполненный чувства любви ко всему и всем, радостно кричащий: «Und Vivat die ganze Welt», – вступив с ним в соперничество, испытывает его влияние. Поведение юнкера аналогично поведению Денисова в госпитале. Он замыкается на себе, из-за чего завязывается конфликт уже не только с самим Теляниным, ставшим для него медиатором, но и Богданычем (полковым командиром). Воровство в полку, ставшее делом публичным, «осрамит весь полк» и, нужно полагать, самого командира. Поэтому он, испытав влияние «заразы», обвиняет Ростова во лжи и тут же слышит ответное обвинение.

В следующий раз они встречаются во время отступления русских войск через реку Энс. Николай Ростов лишен спокойствия, постоянно оглядывается,

чувствуя на себе взгляд полкового командира. Он озабочен желанием выглядеть лучше в его глазах: «Ростову то казалось, что Богданыч только притворяется невнимательным, и что *вся цель его теперь состоит в том, чтобы испытать храбрость юнкера*, и он выпрямлялся и весело оглядывался; то ему казалось, что *Богданыч нарочно едет близко, чтобы показать Ростову свою храбрость*. То ему думалось, что враг его теперь нарочно пошлет эскадрон в отчаянную атаку, чтобы наказать его, Ростова. То думалось, что *после атаки он подойдет к нему и великодушно протянет ему, раненому, руку примирения*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 9; с. 175). Любопытно, что возможность примирения юнкер представляет себе лишь в случае ранения, которое всем доказало бы его храбрость.

Однако все происходит наоборот: ранение доказывает тщету славы храбреца. Неожиданное падение и стон гусара, находившегося рядом с еще не бывавшим под обстрелами Ростовым, действует как лекарство от тщеславия и заставляет перевести взгляд от Богданыча к Дунаю и небу. Герой, вновь чувствуя в себе любовь «к солнцу и жизни» и одновременно переживая «страх смерти и носилок», шепчет молитву.

Во время Шенграбенского сражения Николая ранят в руку. Примечательно, что ранение в его сне оказывается неразрывно связано с «историей с Теляниным и Богданычем»: «Вся эта история была одно и то же, что́ этот солдат с резким голосом, и эта-то вся история и этот-то солдат так мучительно, неотступно держали, давили и все в одну сторону тянули его руку. Он пытался устраниваться от них, но они не отпускали ни на волос, ни на секунду его плечо. Оно бы не болело, оно было бы здорово, ежели б они не тянули его; но нельзя было избавиться от них» (Толстой. Т. 9; с. 242). Тщеславие заставляет жить не своей жизнью. Война отнимает руку. Все это сливается во сне Ростова в «одно». Подобным образом Толстой совмещает сцены в солдатских и офицерских палатах госпиталя. «Кричащая» телесность отрезвляет.

К слову, Денисову, только вернувшемуся из штаба, где произошел скандал с Теляниным, не удастся ничего произнести (кроме «непонятных ругательств и

угроз») до тех пор, пока вызванный Ростовым полковой лекарь не применяет кровопускание⁴¹: «Глубокая тарелка черной крови вышла из мохнатой руки Денисова, и тогда только он был в состоянии рассказать всё, что с ним было» (Толстой. Т. 10; с. 131). Такая мера позволяет герою рассказать, что с ним произошло, но, конечно, не сменить медиатора и полностью излечиться. Он мучается «делом с провиантскими чиновниками», в частности, потому, что поступает в госпиталь с «ничтожной раной» и находится в офицерских палатах, а не в ужасающих солдатских.

Андрей Болконский – один из самых ярких тщеславцев «Войны и мира». В давно ставшей хрестоматийной сцене мечтаний князя после совещания у Кутузова накануне битвы под Аустерлицем он признается самому себе: «Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой! что же мне делать, ежели *я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую*. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди – отец, сестра, жена, – самые дорогие мне люди, – но, как ни страшно и неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас *за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать...*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 9; с. 321). Избавление от болезни наступает во время ранения. Взгляд князя Андрея переносится с окружающих на небо, и вместе с тем происходит смена медиатора (Наполеон больше не «герой» в сравнении с «высоким, справедливым и добрым небом»). Переход от внутренней медиации к внешней происходит вследствие «ослабления сил от истекшей крови», страдания и ожидания смерти.

От тщеславия Болконскому не получается вылечиться навсегда. Настолько эта болезнь заразная, что во время Бородинской битвы он вновь поддается ей.

⁴¹Это весьма любопытная подробность в романе. Паперный и Богданов утверждают, что Толстой был противником гуморальной теории. Действительно, кровопускание используют и при лечении болезни Пьера, однако он выздоравливает вопреки врачебному вмешательству. Денисову лекарь безусловно помогает. Возможно, это противоречие объясняется иными «горячей» кровью гусара. Такое предположение позволяет сделать следующая характеристика, присутствовавшая в тексте «Русского вестника»: «Денисов был один из тех людей, каких теперь не бывает, – один из тех людей, которые постоянно два раза в год пускали себе кровь и назывались горячими» (Толстой. Т. 9; с. 453).

Казалось бы, им уже осознана ничтожность славы среди людей, но перед взрывом гранаты, упавшей рядом, в нем борется любовь к жизни и желание хорошо выглядеть в глазах других. Адьютанту, прилегшему к земле в этот момент, князь Андрей говорит: «— Стыдно, господин офицер!» (Толстой. Т. 11; с. 254). Фоном для этого «больного» поведения служит «здоровое» поведение лошади: «Лошадь первая, *не спрашивая того, хорошо или дурно было выказывать страх*, фыркнула, взвилась, чуть не сронив майора, и *отскакала в сторону*» (курсив наш. – В.М.) (Толстой. Т. 11. С. 253). Тщеславие словно приводит человека к полному уничтожению. Тщеславец живет тем, что навязывает ему взгляд «Другого», а потому сама жизнь — своя и других — для него становится чем-то несущественным.

Страдание позволяет толстовским героям приблизиться к небытию, которое тщеславие маскирует, чтоб ощутить за ним преображающую высоту. Ужасное впечатление фрагментированного и слитого в одно, «обнаженного» и «окровавленного» тела подталкивает князя Андрея к переживанию любви «к любящим нас» и «ненавидящим нас». Анатолий, еще один яркий тщеславец, которому Болконский, скрывая это при людях, хочет отомстить за связь с Наташей, вдруг перестает быть врагом. Вполне возможно, что корни идеи «непротивления злу насилием» идут из размышлений над тщеславием, начатых еще в ранних дневниках. Вступая в противостояние с носителем болезни, как это показано в «Войне и мире», нельзя не испытать его влияния.

Итак, военная медицина в романе — деятельность несколько не связанная с лечением. Обретение здоровья и целостности, как всегда у Толстого, является исключительно внутренним процессом. Работа военного доктора (как и в «Севастопольских рассказах») заключается не в восстановлении увечного тела: медицинское вмешательство лишь констатирует и «подчеркивает» увечья. В госпитале и на перевязочном пункте то ужасное, о чем солдат в бою старается не думать, на что старается не смотреть, вне противостояния неизбежно притягивает взгляды, активизируя внутреннюю «работу». Страдания и боль свои и других, близость к смерти, которые аккумулируют эти медицинские пространства,

одновременно являются результатом неправильной медиации и способом ее исправить. За войной в романе стоит тщеславие, представляющее собой крайне заразную болезнь. Но сама же война, а вернее, ее последствия, увиденные вблизи и пережитые, позволяют героям хотя бы на время побороть «метафизический» недуг.

Сделаем еще одно небольшое отступление относительно внешней медиации романе. Александр и Наполеон – медиаторы, находящиеся на духовной дистанции, для подавляющей части солдат и офицеров. Если посмотреть на это обстоятельство с позиции автора, то можно распознать в императорах недостойных претендентов на эту роль. В Тильзите Николай Ростов «томится» от «внутренней работы», в ходе которой он пытается совместить ужасы, увиденные им в госпитале, спонтанное награждение Лазарева и отказ в прощении Денисова, «любовь» и «уважение» Александра к «самодовольному» Бонапарте. Герой глушит зародившееся внутри сомнение, но авторитет того, кто освещает все вокруг своим взглядом, готов пошатнуться. Наполеон, наблюдающий Бородинское сражение, вдруг переносит на себя страдания и смерть участников сражения. Но в присутствии адъютанта в нем вновь разгорается тщеславие. «Два властелина мира» – так называют их люди. Размышляя о Наполеоне в «Войне и мире», Жирар пронизательно отмечает: «В душах великих людей зияет небытие» [Жирар, 2021, с.200].

Заключение

Итак, Толстой, начиная буквально с первой дневниковой записи, стремится осмыслить опыт болезни, найти методы восстановления здоровья. Болезнь понимается им по-своему, вне прямой связи с современной ему медициной: меньше всего его интересует то, как недуг развивается в теле, телесные его проявления воспринимаются им как следствие разлада в душе. В тоже время, можно отметить, что дневник становится для будущего писателя своего рода клиникой, в которой он пристально наблюдает над процессами, происходящими внутри, и стремится посредством дневника же на них влиять. Болезнь, диагностируемая Толстым, называется «разврат души». Ее суть заключается в нарушении порядка жизни, происходящего под дурным влиянием светского общества. Спасение Толстой видит в уединении и самовоспитании, которое одновременно становится и самолечением. При этом он осознает необходимость воспитания тела, но мыслит его в рамках этого общего стремления подчинения жизни порядку целого.

В «Набеге» Толстой переосмысляет эту концепцию. Восприятие болезни, остающейся категорией внутренней, не допускающей никакого постороннего влияния, осложняется. Болезнь, которая репрезентирована в рассказе, можно определить как нарушение целостности. Причем это касается и тела прапорщика Аланина, нарушаемого пулей, и восприятия войны повествователем, нарушаемого самим набегом. Врач бессилен в своей работе с телом, не способен исправить «дырочку на целом месте», как повествователь не способен осмыслить войну. Целостность не идентична порядку, в ней ощущается хрупкое чувство связи с жизнью. Ее нельзя восстановить механически. В рассказе она находится в ведении Бога, а потому и вопрос о возможности восстановления здоровья решается не среди людей.

Во время пребывания на Кавказе Толстой записывает в дневник сведения о народных методах врачевания. Один из них, а именно лечение травами, упоминается писателем в повести «Казачи». В начале 1850-х гг. деятельность

горцев-лекарей объясняется им в рамках теории животного магнетизма. Месмеризм интересует Толстого именно как некая объяснительная теория, но к началу 1860-х гг. толстовское отношение к нему радикально меняется, а потому в «Казаках» с ним уже нет практически никаких ассоциаций. При этом врачи в повести не развенчиваются в неспособности повлиять на болезнь. Наоборот, писатель только упоминает методы лечения, не раскрывая их логики. Это ему необходимо, чтобы сохранить тайну вокруг границы между жизнью и смертью, интуитивно ощущаемую героями, близкими миру природы.

Кроме того, именно в 1860-е гг. в творчестве Толстого закладываются предпосылки к формированию новой концепции тела, тесно связанной со специфическим восприятием болезни. Четкое выражение она найдет в произведениях 1880-х гг. Стремление к упорядочиванию, отразившееся, в частности, в увлечении гимнастикой, постепенно осознается Толстым как «старание умереть» (Бибихин). Поэтому он развивает обратную логику, согласно которой – тело есть «лопата»: его нужно не «хранить», а «точить и тратить» в труде. Болезнь и страдание лишь состояния, которые нужно уметь правильно проживать.

Медицинский дискурс в «Севастопольских рассказах» представлен несколько иначе. Видимые отличия следующие: намного больше сцен с участием докторов, фельдшеров и сестер милосердия, да и сами они выполняют важную работу, несмотря на постоянную угрозу собственной жизни. Однако понимание войны как «травматической эпидемии» не близко Толстому. Медицинская деятельность в этих трех рассказах направлена не на борьбу с болезнью. Доктора не могут восстановить тела солдат, они занимаются «отвратительным, но необходимым делом ампутаций», поддерживая покалеченную страданиями жизнь. Медицинские сестры также не устраняют само страдание, но помогают, не щадя себя, жить в страдании. То, что происходит на бастионах, находит свое продолжение в стенах перевязочного пункта. У медицины здесь одна функция – сделать страдания «выпуклыми», подчеркнуть их. Это нужно для того, чтоб подчеркнуть, как часто это бывает у Толстого, болезнь, протекающую в другой

плоскости. Вместо «травматической эпидемии» в «Севастопольских рассказах» показана «эпидемия тщеславия». Логика этого заболевания заключается в неправильных отношениях между человеком и миром. Зараженный тщеславием человек теряет себя, живет желаниями окружающих людей. Война позволяет вскрыть подмену внешней медиации на внутреннюю и привести к преображению.

Начиная с «Войны и мира», в представлениях Толстого о медицине значительным становится социальный аспект. Положение больного, восприятие болезни в романе в целом не изменяется, но уточняется и находит свое выражение в своеобразной идее – «каждый болеет по-своему». Медицинский взгляд, вообще научный подход к жизни, осуждается писателем за односторонность. По Толстому, «истинная» картина процессов, происходящих внутри больного не подвластна стороннему взгляду: для понимания «целого» необходимо утратить точку наблюдения. Доктор, не способный бороться с болезнью, при этом становится потенциально опасным. Медицина в «Войне и мире» может приносить нравственный вред, вмешиваясь в необходимые больному и его близким процессы страдания и сострадания.

Продолжается в романе и линия военной медицины, идущая от «Севастопольских рассказов». Работа военного доктора заключается не в восстановлении тела, получившего увечья, а в своеобразной констатации существования нарушений. В госпитале и на перевязочном пункте взгляды солдат и офицеров притягивает то ужасное, на что в бою принято не смотреть. За физическим и моральными страданиями обнаруживается болезнь, которая к ним и привела, – тщеславие. Тщеславец, подобно мертвому телу, источает миазмы, отравляющие окружающих, заставляет их терять «Я» в чужом желании, терять подлинное бытие. Смерть от ранения и тифа, которая проявляется в увечьях и «запахе мертвого тела», у Толстого тесно переплетается с фальшивой жизнью.

Биографический список

1. Герцен, А. И. Собрание сочинений: в 30 т. Том 4. Кто виноват? / А. И. Герцен; АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького; гл. ред. В. П. Волгин и др. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1955. – С. 5–210.
2. Толстой, Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. / Л. Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1928–1959. – Т. 3 (1935); Т. 4 (1935); Т. 5 (1935); Т. 6 (1936); Т. 9 (1937); Т. 10 (1938); Т. 11 (1940), Т. 12 (1940); Т. 13 (1949); Т. 14 (1953); Т. 23 (1957); Т. 25 (1937); Т. 26 (1936); Т. 45 (1936); Т. 46 (1937); Т. 47 (1937); Т. 48 (1952); Т. 49 (1952); Т. 50 (1952); Т. 57 (1952); Т. 59 (1935); Т. 60 (1949).
3. Фет, А. А. «Был чудный майский день в Москве»: Стихи. Поэмы. Страницы прозы и воспоминаний. Письма / А. А. Фет; сост. А. Е. Тархова и Г. Д. Аслановой; вступит. статья А. Е. Тархова; примеч. Г. Д. Аслановой. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 400 с. – (Серия «Московский Парнас»). – ISBN 5-239-00410-2.
4. Чернышевский, Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15 т. / Н. Г. Чернышевский. – Москва : Гослитиздат, 1939–1953. – Т. 2 (1949); Т. 3 (1947); Т. 11 (1939).
5. Абдульманова, Л. В. Развитие представлений о физическом воспитании в русской философско-педагогической мысли (исторический аспект) /Л. В. Абдульманова // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. – 2005. – № 11. – С. 80–86.
6. Агамбен, Д. Костер и рассказ / Д. Агамбен; пер. с итал. Э. Сатарова. – Москва : ООО «Издательство Грюндриссе», 2015. – 192 с. – ISBN: 9785-904099-17-6.
7. Александров, А. С. Бюллетени о состоянии здоровья Л. Н. Толстого в прессе начала XX века / А. С. Александров // Летняя школа по русской литературе. – 2014. № 2. – С. 99–110.

8. Алексеева, Г. В. Американские диалоги Льва Толстого / Г. В. Алексеева. – Тула : Издательский Дом «Ясная Поляна», 2010. – 253 с. – ISBN 978-5-93322-039-8.
9. Андреевский, П. В. Как предохранить себя от тифа. Тиф и тифоиды. Пятнистый и кишечный тиф; возвратная горячка; желчный тифоид; холерный и скарлатинный тифоиды. Их происхождение, распознавание, предохранение и лечение / П. В. Андреевский. – Москва : Издание книгопродавца Д. И. Преснова, 1878. – 96 с.
10. Бабаев, Э. Г. Очерки эстетики и творчества Л. Н. Толстого / Э. Г. Бабаев. – Москва : Издательство МГУ, 1981. – 198 с.
11. Бабаев, Э. Г. «Анна Каренина» Л. Н. Толстого / Э. Г. Бабаев. – Москва : Художественная литература, 1978. – 160 с.
12. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Р. Барт; пер с фр. Г. К. Косикова. – Москва : Прогресс, 1989. – 616 с. – ISBN 5-01-004408-0.
13. Басинский, П. В. Лев Толстой: Бегство из рая / П. В. Басинский. – Москва : Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2023. – 637 с. (Серия «Толстой: новый взгляд»). – ISBN 978-5-17-147512-3.
14. Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / М. М. Бахтин. – Москва : Художественная литература, 1975. – 504 с.
15. Бахтин, М. М. Статьи о Льве Толстом / М. М. Бахтин // Дон. – 1988. – № 10. – С. 160–172.
16. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – Москва : Искусство, 1979. – 424 с.
17. Бахтина, О. Н. Проблема житийного канона в повести Л. Н. Толстого «Отец Сергей» / О. Н. Бахтина // Лев Толстой и время. – Томск, 2010. – С. 35–39.
18. Берг, Н. В. Севастопольские письма / Берг Н. В. // Москвитянин. – 1855. – Т. III. № 12. Кн. 2. – С. 38–64.
19. Берман, Б. И. Сокровенный Толстой / Б. И. Берман. – Москва : Гендальф, 1992. – 206 с.

20. Бибихин, В. В. Дневники Льва Толстого / В. В. Бибихин. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2023. – 464 с. – ISBN 978-5-89059-489-1.
21. Биша, М. Ф. К. Физиологические исследования о жизни и смерти / М. Ф. К. Биша; пер. с франц., вступительная статья и примечания П. А. Бибикова. – Санкт-Петербург : Типография И. И. Глазунова, 1865. – LVIII, 458 с.
22. Богданов, В. А. Человек и мир в романах Льва Толстого / В. А. Богданов // В мире Толстого. – Москва : Советский писатель, 1978. – С. 134–160.
23. Богданов, К. А. Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской культуры / К. А. Богданов. – Санкт-Петербург : Азбука; Азбука-Аттикус, 2017. – 672 с. – (Серия «Культурный код»). – ISBN 978-5-389-11603-0.
24. Богданов, К. А. В сторону (от) текста. Мотивы и мотивации / К. А. Богданов. – Москва : Новое литературное обозрение, 2023. – 432 с. – ISBN 978-5-4448-1914-2.
25. Богданов, К. А. Преждевременные похороны: филантропы, беллетристы, визионеры / К. А. Богданов // Русская литература и медицина: Тело, предписания, социальная практика. – Москва, 2006. – С. 55–80. – (Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 1). – ISBN 5-98379-049-8.
26. Бочаров, С. Г. Роман Л. Толстого «Война и мир» / С. Г. Бочаров. – Москва : Художественная литература, 1978. – 103 с.
27. Бялый, Г. А. Категории добра и пользы в учении и творчестве Л. Н. Толстого / Г. А. Бялый // Проблемы поэтики русского реализма XIX в. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1984. – С. 170–183.
28. Быкова, А. М. Болезнь как модернистская метафора на примере «Палаты номер 6» А. П. Чехова и «Смерти Ивана Ильича» Л. Н. Толстого / А. М. Быкова // Восточно-европейский научный журнал. – 2021. – Т. 3. № 5(69). – С. 29–33.

29. Вересаев, В. В. Живая жизнь: о Достоевском и Л. Толстом: Аполлон и Дионис (о Ницше) / В. В. Вересаев. – Москва : Политиздат, 1991. – 336 с. – ISBN 5-25001765-7.
30. Вигарелло, Ж. История тела: в 3 т. Том 2. Работа над телом. Гимнасты и спортсмены в XIX веке / Ж. Вигарелло, Р. Холт; пер. с фр. О. Аверьянова; под ред. А. Корбена, Ж.-Ж. Куртина, Ж. Вигарелло. – Москва : Новое литературное обозрение, 2018. – С. 262–318. – ISBN 978-5-4448-2183-1.
31. Виллие, Я. В. О желтой американской горячке / Я. В. Виллие. – Санкт-Петербург : Медицинская типография, 1805. – 161 с.
32. Гаевский, С. Ф. О гнилой и нервной горячке / С. Ф. Гаевский. – Санкт-Петербург : Медицинская типография, 1813. – 82 с.
33. Глезеров, С. Е. Модные увлечения блистательного Петербурга. Кумиры. Курьезы. Рекорды / С. Е. Глезеров. – Москва; Санкт-Петербург : Центрполиграф; МиМ-Дельта, 2009. – 622 с.
34. Галаган, Г. Я. Л. Толстой : художественно-эстетические искания / Г. Я. Галаган. – Ленинград : Наука, 1981. – 174 с.
35. Гарин, И. И. Неизвестный Толстой / И. И. Гарин. – Харьков : СП «Фолио», 1993. – 238 с. – ISBN 5-85889-123-5.
36. Гимнастика для юношества, или основные правила различных упражнений, служащих к укреплению тела, к поддержанию здоровья и к образованию доброго темперамента. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи, 1834. – XIV, 126 с.
37. Гинзбург, Л. Я. О психологической прозе / Л. Я. Гинзбург. – Ленинград : Советский писатель. Ленинградское отделение, 1971. – 464 с.
38. Гладышев, А. К. Интерпретация мотива смерти в повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» / А. К. Гладышев // Уральский филологический вестник. Серия : Драфт : Молодая наука. – Екатеринбург, 2013. – № 5. – С. 53–63.
39. Гладышев, А. К. Эстетика и физиология смерти в рассказе Л. Н. Толстого «Три смерти» / А. К. Гладышев // Филологический класс. – 2012. – №. 1. – С. 51–54.

40. Говоров, Я. И. Теория и способ лечения нервной повальной горячки, с прибавлением мнения о заразительных болезнях / Я. И. Говоров. – Санкт-Петербург : Медицинская типография, 1812. – I-III, 7–75 с.
41. Голубева, Л. Н. Художественное завещание Л. Н. Толстого – концепция неистребимости жизни (по повести «Смерть Ивана Ильича») / Л. Н. Голубева // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 1 (7). – С. 64–67.
42. Голубов, Н. Ф. Болезнь и смерть Ивана Ильича у Толстого и Доктора Паскаля у Эмиля Золя / Н. Ф. Голубов. – Санкт-Петербург : Типография Первой Санкт-петербургской Трудовой Артели, 1909. – 15 с.
43. Гродецкая, А. Г. Ответы предания : жития святых в духовном поиске Льва Толстого / А. Г. Гродецкая. – Санкт-Петербург : Наука, 2000. – 263 с. – ISBN 5-02-028469-6.
44. Громбах, С. М. Пушкин и медицина его времени / С. М. Громбах. – Москва : Медицина, 1989. – 275 с. – ISBN 5-225-00275-7.
45. Громбах, С. М. Русская медицинская литература XVIII в. / С. М. Громбах. – Москва : Издательство Академии медицинских наук СССР, 1953. – 284 с.
46. Гуревич, С. А. Врач, лечивший И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, М. П. Мусоргского [Л.Б. Бертенсон] / С. А. Гуревич // Клиническая медицина. – 1977. – № 2. – С. 40–42.
47. Гусев, Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828-1890 / Н. Н. Гусев. – Москва : Гослитиздат, 1938. – 837 с.
48. Гусейнов, А. А. Чем был обусловлен и в чем заключался духовный переворот Льва Николаевича Толстого? / А. А. Гусейнов // Философский журнал. – 2015. – Т. 8. – № 4. – С. 5–14.
49. Гусейнов, А. А. Разумная вера Л. Н. Толстого / А. А. Гусейнов // Сравнительная философия. Знание и вера в контексте диалога культур. – Москва : «Восточная литература» РАН, 2008. – С. 288–304.

50. Густафсон, Р. Обитатель и чужак. Теология и художественное творчество Льва Толстого / Р. Густафсон. – Санкт-Петербург : Академический проект, 2003. – 480 с. – (Серия «Современная западная русистика»). – ISBN 5-7331-0156-3.

51. Давидов, М.И. О творческом долголетии и здоровом образе жизни Л. Н. Толстого / М. И. Давидов // Клиническая геронтология. – 2006. – №1. – С. 78–87.

52. Давидов, М. И. Хирургические болезни графа Л. Н. Толстого (к 100-летию со дня смерти писателя) / М. И. Давидов // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2010. – № 6. – С. 79–82.

53. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. Том 2. И-О / В. И. Даль. – Москва : Русский язык, 1981. – 779 с.

54. Дарнтон, Р. Месмеризм и конец эпохи Просвещения во Франции / Р. Дарнтон; пер. с англ. Н. и В. Михайлиных; пер. с франц. Е. Кузьмишина. – Изд. 2-е. – Москва : Новое литературное обозрение, 2024. – 240 с. – (Серия «Studia religiosa»). – ISBN 978-5-4448-1508-3.

55. Демидова, С. А. «Если жизнь – благо, то благо и смерть»: парадоксальная танатология Л. Н. Толстого / С. А. Демидова // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2020. – № 3. – С. 149–155.

56. Долгоруков, А. В. Месмер и его начальная теория / А. В. Долгоруков. – Санкт-Петербург: Типография Карла Крайя, 1846. – 78 с.

57. Долгоруков, А. В. Органон животного месмеризма / А. В. Долгоруков. – Санкт-Петербург : Типография Библиотеки медицинских наук доктора М. Хана, 1860. – 354 с.

58. Домашняя врачебная гимнастика, для обоего пола и для всех возрастов, начиная от 3-х и свыше 60-ти лет: составлена по методам Шребера и Клосса с присовокуплением правил: борьбы, плавания, катания по льду и гимнастических игр: с 69-ю изображениями. – Москва : Типография Т. Волкова и комп., 1858. – 191 с.

59. Донсков, А. «Драматическое присутствие» в повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» / А. Донсков // Русская литература. – 1993. – № 3. – С. 146–153.
60. Еремин, М. П. Подробности и смысл целого. Из наблюдений над текстом повести «Смерть Ивана Ильича» / М. П. Еремин // В мире Толстого. – Москва, 1978. – С. 221–247.
61. Ермилов, В. В. Толстой-художник и роман «Война и мир» / В. В. Ермилов. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 359 с.
62. Животный магнетизм и физиологические исследования его явлений // Отечественные записки. – 1852. – Т. LXXXIII. Отд. VII. – С. 94–104.
63. Желис, Ж. История тела: в 3 т. Том 1. Тело, церковь, религия / Ж. Желис; пер. с фр. М. С. Неклюдовой, А. В. Строговой; под ред. А. Корбена, Ж.-Ж. Куртина, Ж. Вигарелло. – Москва : Новое литературное обозрение, 2018. – С. 13–64. – ISBN 978-5-4448-0027-0.
64. Животный магнетизм и физиологические исследования его явлений // Отечественные записки. – 1852. – Т. LXXXIII. Отд. VII. – С. 94–104.
65. Жирар, Р. Ложь романтизма и правда романа / Р. Жирар; пер. с франц. А. Зыгмонта; предисловие С. Зенкина. – Изд. 2-е. – Москва : Новое литературное обозрение, 2021. – 352 с. – (Серия «Studia religiosa»). – ISBN: 978-5-4448-1103-0.
66. Заблудовский, П. Е. Л. Н. Толстой и медицина (К 150-летию со дня рождения Л. Н. Толстого) / П. Е. Заблудовский, Э. М. Конюс // Клиническая медицина. – 1978. – Т. LVI. – № 10. – С. 140–142.
67. Завалий, А. Г. Категория смерти у Толстого и Хайдеггера / А. Г. Завалий // Лев Толстой и время. – Томск, 2010. – С. 210–220.
68. Завершинская, Е. А. Словесный и телесный дискурсы в романах Г. Флобера «Мадам Бовари» и Л. Н. Толстого «Анна Каренина» : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Е. А. Завершинская. – Тверь, 2011. – 19 с.
69. Задера, Г. И. Об отношении Толстого к медицине и врачам / Г. И. Задера. – Санкт-Петербург : «Литературно-медицинский журнал» д-ра Окса, 1906. – 61 с.

70. Иванышина, Е. А. На пересечении границ: врач в русской литературе / Е. А. Иванышина // Характерологические стратегии в русской литературе / науч. редактор А. А. Фаустов; Воронежский государственный университет. – Воронеж : ООО ИПЦ «Научная книга», 2013. – С. 46–155. – ISBN 978-5-4446-0330-7.

71. Иглтон, Т. Идея культуры / Т. Иглтон; пер. с англ. И. Кушнareвой. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. – 192 с. – ISBN 978-5-7598-0838-1.

72. Идельсон, Е. М. Врачи и медицина в произведениях Л. Н. Толстого: Речь, произнес. в годич. заседании О-ва врачей, при Имп. Казан. ун-те, 6 февр. 1910 г. / Е. М. Идельсон. – Казань : Типо.-лит. Императорского университета, 1910. – 34 с.

73. Ильин, В. Н. Миросозерцание графа Льва Николаевича Толстого / В. Н. Ильин. – Санкт-Петербург : Издательство Рус. Христиан. гуманитар. ин-та, 2000. – 478 с. – ISBN 5-88812-080-4.

74. Калинин, И. Севастополь в августе 1855 года. Война, фотография и хирургия: рождение поэтики модерна / И. Калинин // Новое литературное обозрение. – 2012. – № 116/117. – С. 32–74.

75. Каменева, М. Ю. Молчание и слово в эстетической концепции Л. Н. Толстого (на примере романа-эпопеи «Война и мир») / М. Ю. Каменева // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2009. – № 3. – С. 33–39.

76. Камянов, В. И. Поэтический мир эпоса: О романе Л. Толстого «Война и мир» / В. И. Камянов. – Москва : Советский писатель, 1978. – 295 с.

77. Касториадис, К. Дрейфующее общество. Беседы и дискуссии (1974–1997) / К. Касториадис; пер. с франц. Н. Осиповой и Б. Скуратова. – Москва : Гнозис/Логос, 2012. – 328 с. – ISBN 5-8163-0095-7.

78. Конюс, Э. Лев Толстой и пропаганда медицинских знаний / Э. Конюс. – Москва : Институт санитарного просвещения, 1940. – 56 с.

79. Краснов, Г. В. Севастополь и «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого в творческой истории романа «Война и мир» / Г. В. Краснов // Учён. зап. Горьк. ун-та. – 1954. – Вып. XXVI. – С. 171–192.
80. Крылов, В.Н. Размышление о смерти в повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» / В. Н. Крылов, Чжэн Сяоян // Казанский лингвистический журнал. – 2021. – № 4 (2). – С. 167–178.
81. Кулижников, Г. А. Л. Н. Толстой и медицина: (В хронол. освещении с указ. лит. источников) / Г. А. Кулижников. – Москва : Творческий центр Сфера, 1999. – 638 с. – ISBN 5-891144-072-5.
82. Купреянова, Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого / Е. Н. Купреянова. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 323 с.
83. Курляндская, Г. Б. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский: Проблема метода и мировоззрения писателей / Г. Б. Курляндская. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1986. – 254 с.
84. Лебедев, Ю. В. Л.Н. Толстой на пути к «Войне и миру» (Севастополь и «Севастопольские рассказы») / Ю. В. Лебедев // Русская литература. – 1976. – № 4. – С. 61–82.
85. Леонтьев, К. Н. О романах гр. Л. Н. Толстого: анализ, стиль и веяние (Критический этюд) / К. Н. Леонтьев; предисл. А. А. Александрова. – Москва: тип. В. М. Саблина, 1911. – 152 с.
86. Лесгафт, П. Ф. Собрание педагогических сочинений: в 5 т. Том 4. Об отношении анатомии к физическому воспитанию / П. Ф. Лесгафт; сост. и подгот. к печати проф. Г. Г. Шахвердов; примеч. К. Х. Грантынь и др. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – С. 7–21.
87. Лесгафт, П. Ф. Собрание педагогических сочинений: в 5 т. Том 4. Основы естественной гимнастики / П. Ф. Лесгафт; сост. и подгот. к печати проф. Г. Г. Шахвердов; примеч. К. Х. Грантынь и др. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – С. 22–106.
88. Лещева, В. А. Влияние религиозно-философских взглядов Л. Толстого на художественное творчество 1880-х годов / В. А. Лещева // Вестник Томского

государственного педагогического университета. – 2014. – № 9 (150). – С. 104–108.

89. Лидский, А. Т. Смерть, болезнь и врач в художественных произведениях Л. Н. Толстого» / А. Т. Лидский // Русская клиника. – 1929. – Т. XI. № 57. – С. 3–15.

90. Литвинов, А. В. Медицина в литературно-художественном пространстве / А. В. Литвинов, И. А. Литвинова. – Изд. 2-е. – Москва : МЕДпрессинформ, 2012. – 272 с. – ISBN 978-5-98322-812-2.

91. Лихтенштейн, Е. И. Медицинские темы в произведениях Л. Н. Толстого: к 50-летию со дня смерти / Е. И. Лихтенштейн // Клиническая медицина. – 1960. – № 9. – С. 141–148.

92. Лихтенштейн, Е. И. Помнить о больном. Пособие по медицинской деонтологии / Е. И. Лихтенштейн, предисловие проф. В. Х. Василенко, послесловие Ю. Щербак. – Изд. 2-е. – Киев : Вища школа, 1978. – 176 с.

93. Ломунов, К. Н. Эстетика Льва Толстого / К. Н. Ломунов. – Москва : Современник, 1972. – 479 с.

94. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург : Искусство, 1994. – 399 с. – ISBN 5-210-01524-6.

95. Лотман, Ю. М. О русской литературе классического периода / Ю. М. Лотман // Лотман Ю. М. и тартуско-московская семиотическая школа. – Москва: Гиозис, 1994. – С. 380–394. – ISBN 5-7333-0486-3.

96. Лотман, Ю. М. Смерть как проблема сюжета / Ю. М. Лотман // Лотман Ю. М. и тартуско-московская семиотическая школа. – Москва : Гиозис, 1994. – С. 417–445. – ISBN 5-7333-0486-3.

97. Маймин, Е. А. Лев Толстой: Путь писателя / Е. А. Маймин. – Москва : Наука, 1978. – 192 с.

98. Маковицкий, Д. П. У Толстого, 1904-1910: «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого: в 4 кн. / Д. П. Маковицкий; под ред. С. А. Макашина, М. Б. Храпченко, В. Р. Щербиной. – Москва : Наука, 1979–1981.

99. Маркова, В. Ю. Священник и больной (по материалам второй половины XIX – начала XX века) / В. Ю. Маркова // Антропология. Фольклористика. Лингвистика. – Санкт-Петербург, 2002. – Вып. 2. – С. 131–169. – ISBN: 999-00-1424102-0.

100. Манн, Ю. В. Автор и повествование / Ю. В. Манн // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. – Москва, 1994. – С. 431–438. – ISBN 5-201-14197-2.

101. Матич, О. Поздний Толстой и Блок попутчики по вырождению / О. Матич // Русская литература и медицина: Тело, предписания, социальная практика. – Москва, 2006. – С. 194–208. – (Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 1). – ISBN 5-98379-049-8.

102. Матич, О. Эротическая утопия. Новое религиозное сознание и *fin de siècle* в России / О. Матич; Пер. с англ. Е. Островской. – Москва : Новое литературное обозрение, 2008. – 400 с. – ISBN 978-5-86793-6426.

103. Меве, Е. Б. Болезнь человека и врач в творческом отображении Л. Н. Толстого / Е. Б. Меве // Клиническая медицина. – 1978. – Т. LVI. № 10. – С. 135–140.

104. Мережковский, Д. С. Л. Толстой и Достоевский / Д. С. Мережковский. – Москва : Наука, 2000. – 585 с. – ISBN 5-02-011599-1.

105. Мертен, С. Поэтика медицины: от физиологии к психологии в раннем русском реализме / С. Мертен // Русская литература и медицина: Тело, предписания, социальная практика. – Москва, 2006. – С. 103–122. – (Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 1). – ISBN 5-98379-049-8.

106. Месмер, Ф. А. Доклад об открытии животного магнетизма / Ф. А. Месмер; пер. с нем. редакцией альманаха «Психическая энергия» // Психическая Энергия. – 2014. – № 1. – С. 42–65.

107. Мечников, И. И. Сорок лет искания рационального мировоззрения / Мечников И. И. – Москва : Государственное издательство, 1925. – 280 с.

108. Мирский, М. Б. Хирургия от древности до современности: Очерк истории / М. Б. Мирский. – Москва : Наука, 2000. – 796 с. – ISBN 5-02010201-6.

109. Мозер, У. Чахотка: другая история немецкого общества / У. Мозер; пер. с нем. А. Кулес. – Москва : Новое литературное обозрение, 2021. – 288 с. (Серия «Культура повседневности»). – ISBN 978-5-4448-1516-8.

110. Нагина, К. А. «Идея сада» в творчестве Л. Толстого : от «Казаков» к «Воскресению» / К. А. Нагина // Вестник Удмуртского университета. – 2011. – Вып. 4. – С. 8–17. 94. Нагина, К. А. «Я сделался зверем...» (Об одном мотиве Толстовской прозы) / К. А. Нагина // Филологические записки. – Воронеж, 2003. – № 20. – С. 96–105.

111. Нагина, К.А. Антропологическая семантика бестиария Л. Толстого // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология, Журналистика. Воронеж. – 2016. – № 2. – С. 53–57.

112. Нагина, К. А. Литературные универсалии в творчестве Л. Толстого / К. А. Нагина. – Воронеж : Издательство «Институт ИТОУР», 2009. – 146 с. – ISBN 978-5-91667-022-6.

113. Нагина, К. А. Образно-смысловая оппозиция «жизнь»-«смерть» в произведениях Л. Н. Толстого 1880-х годов: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / К. А. Нагина. – Воронеж, 1998. – 213 с.

114. Нагина, К. А. Поэтика телесности: Л. Толстой и М. Кундера / К. А. Нагина // Вопросы языка и литературы в современных исследованиях. Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. X Юбилейные Кирилло-Мефодиевские чтения». – 2009. – С. 307–314.

115. Нагина, К. А. Пространственные универсалии и характерологические коллизии в творчестве Л. Толстого / К. А. Нагина. – Воронеж : «Научная книга», 2012. – 443 с. – ISBN 978-5-4446-0108-2.

116. Неклюдова, Е. «Воскрешение Аполлона»: literature and medicine – генезис, история, методология / Е. Неклюдова // Русская литература и медицина: Тело, предписания, социальная практика. – Москва, 2006. – С. 16–27. – (Новые

материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 1). – ISBN 5-98379-049-8.

117. Некрасов, Н. А. Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Том 11, книга 2. Заметки о журналах за июль месяц 1855 года / Н. А. Некрасов; АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); редкол.: М.Б. Храпченко (гл. ред.) и др. – Ленинград : Наука. Ленинградское отделение, 1990. – С. 141–161. – ISBN 5-02-027984-6.

118. Николози, Р. Вырождение: литература и психиатрия в русской культуре конца XIX века / Р. Николози; авториз. пер. с нем. Н. Ставрогиной. – Москва : Новое литературное обозрение, 2019. – 512 с. – ISBN 978-5-4448-0990-7.

119. Новалис. Фрагменты / Новалис; пер. с нем., вступительная статья и примечания А. Л. Вольского. – Санкт-Петербург : «Владимир Даль», 2014. – 319 с. – ISBN 978-5-93615-130-9.

120. Ободовский, А. Руководство к педагогике, или науке воспитания / А. Ободовский. – Санкт-Петербург: Типография Конрада Вингебера, 1853. – 256 с.

121. Опульская, Л. Д. Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир» / Л. Д. Опульская. – Москва : Просвещение, 1987. – 175 с.

122. Орвин, Д. Следствия самосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой / Д. Орвин; пер. с англ. А. Г. Городецкой. – Санкт-Петербург : Academic Studies Press / Библиороссика, 2022. – 351 с. – (Серия «Современная западная русистика»). – ISBN 978-1-6446980-4-4.

123. Отто, Б. Приносимый в жертву бог / Отто Б.; пер. с нем. А.А. Молчановой // Вестник древней истории. – 1996. – № 2. – С. 103–119.

124. Паперно, И. «Если бы можно было рассказать себя...»: дневники Л.Н. Толстого / И. Паперно // Новое литературное обозрение. – 2003. – № 61. – С. 296 – 317.

125. Паперный, В. Антимедицинские мотивы в романе Льва Толстого «Война и мир» / В. Паперный // Toronto Slavic quaterly. – Toronto, 2014. – № 47. – С. 154–173.

126. Пирогов, Н. И. Начала общей военно-полевой хирургии, взятые из наблюдений военно-госпитальной практики и воспоминаний о Крымской войне и Кавказской экспедиции. Часть 1 / Н. Пирогов; под общ. ред. акад. Н. Н. Бурденко; со статьями: акад. Н. Н. Бурденко «Н. И. Пирогов – основоположник военно-полевой хирургии», ген.-полк. Е. И. Смирнова «Организационные вопросы военно-полевой хирургии по Пирогову и их современное понимание». – Москва; Ленинград : Медгиз, 1941. – LV, 338 с.

127. Пирогов, Н. И. Отчет о путешествии по Кавказу, содержащий полную статистику ампутаций, статистику операций, произведенных на поле сражения и в различных госпиталях России с помощью анестезирования, опыты и наблюдения над огнестрельными ранами и проч. / Н. И. Пирогов. – Санкт-Петербург : Типография Э. Праца, 1849. – XXVII, 226, 60 с.

128. Пирогов, Н. И. Севастопольские письма / Н. И. Пирогов. – Москва; Санкт-Петербург: Книжный Клуб Книговек; Северо-Запад, 2011. – 384 с. – (Серия «Золотая библиотека русской медицины»). – ISBN 978-5-4224-0127-7.

129. Пироговская, М. Миазмы, симптомы, улики: запахи между медициной и моралью в русской культуре второй половины XIX века / Мария Пироговская – Санкт-Петербург : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. – 392 с. – ISBN 978-5-94380267-6.

130. Платон. Собрание сочинений в 4 т. : Т. I. / Платон; общая редакция А. Ф. Лосева и др.; автор вступительной статьи А. Ф. Лосев; примечания А. А. Тахо-Годи; перевод с древнегреч. Вл. С. Соловьева и др. – Москва : Мысль, 1990. – 860 с. – (Серия «Философское наследие»). – ISBN 5-244-00451-4.

131. Погожев, А. В. По поводу антипатии графа Л. Н. Толстого к медицине / А. В. Погожев. – Воронеж : Типо-лит. В. В. Юркевича, 1897. – 11 с.

132. Прокудин, Б. А. Л. Н. Толстой: принцип «остранения» в политике / Б. А. Прокудин // Ценности и смыслы. – 2013. – № 1 (23). – С. 139–146.

133. Порудоминский, В. Если буду жив, или Лев Толстой в пространстве медицины / В. Порудоминский. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. – 376 с. –

(Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»). – ISBN: 978-5-91-419656-84.

134. Рейтблат, А. И. Пушкин-гимнаст / А. И. Рейтблат // Новое литературное обозрение. – 2013. – № 5 (123). – С. 201–217.

135. Ремизов, В. Б. Роман Л. Н. Толстого «Воскресение» : концепция жизни и формы ее воплощения / В. Б. Ремизов. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1986. – 164 с.

136. Рецензия на книгу «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела» Н. И. Пирогова / Библиотека для чтения, журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод. – 1844. – Т. LXIII, Отд. V. – С. 37–82.

137. Свительский, В. А. Личность в мире ценностей (Аксиология русской психологической прозы 1860-1870-х годов) / В. А. Свительский. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2005. – 232 с.

138. Селин, Л.-Ф. Путешествие на край ночи / Л.-Ф. Селин; пер. с франц. Ю. Корнеева. – Москва : Издательство АСТ, 2019. – 416 с. – (Серия «Extrатекст»). – ISBN 978-5-17-094200-8.

139. Скафтымов, А. П. Идеи и формы в творчестве Л. Толстого / А. П. Скафтымов // Нравственные искания русских писателей. – Москва : Художественная литература, 1972. – С. 134–165.

140. Скафтымов, А. П. Нравственные искания русских писателей / А. П. Скафтымов. – Москва : Художественная литература, 1972. – 544 с.

141. Сливицкая, О. В. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблемы человеческого общения / О. В. Сливицкая. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1988. – 189 с.

142. Сливицкая, О. В. «Истина в движении». О человеке в мире Л. Толстого / О. В. Сливицкая. – Санкт-Петербург : Амфора, 2009. – 442 с. – (Серия «БОС») – ISBN 978-5-367-01031-2.

143. Соллогуб, В. А. Сочинения графа В. А. Соллогуба: Т. 1-5. Том 3. Черты петербургской жизни 1847 года / В. А. Соллогуб. – Санкт-Петербург : Издание придворного книгопродавца А. Смирдина (сына), 1856. – С. 16–106.

144. Сонтаг, С. Болезнь как метафора / С. Сонтаг; пер. с англ. М. А. Дадаян, А. Е. Соколинской. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2016. – 2016. – ISBN 978-5-91103-308-8.

145. Соболев, В. *Febris erotica*. Любовный недуг в русской литературе / В. Соболев; пер. с англ. Е. Куприяновой. – Санкт-Петербург : Academic Studies Press / Библиороссика, 2023. – 382 с. – (Серия «Современная западная русистика»). – ISBN 979-8-887192-49-9 / ISBN 978-5-907532-74-8.

146. Сонтаг, С. Смотрим на чужие страдания / С. Сонтаг, пер. с англ. В. П. Голышева. – Изд. 2-е. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2023. – 128 с. – ISBN 978-5-91103-717-8.

147. Телегин, С. М. Как умирают герои Льва Толстого / С. М. Телегин // Яснополянский сборник – 2008: Статьи, материалы, публикации. – 2008. – С 207–210. – ISBN 978-5-93322-031-2.

148. Трубецкова, Е. Г. Болезнь как социальная и политическая метафора в литературе и публицистике XX века / Е. Г. Трубецкова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. – 2018. – Т. 18. Вып. 1. – С. 65–68.

149. Трубецкова, Е. Г. «Новое зрение»: болезнь как приём остранения в русской литературе XX века / Е. Трубецкая. – Москва : Новое литературное обозрение, 2019. – 304 с. – (Серия «Очерки визуальности»). – ISBN 978-5-4448-1104-7.

150. Трубецкова, Е. Г. Медицинский дискурс и/или морбуальный код: проблемы терминологии современного литературоведения / Е. Г. Трубецкова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. – 2021. – Т. 21. Вып. 2. – С. 186–191.

151. Тюпа, В. И. Жанр и дискурс / В. И. Тюпа // Критика и семиотика. – 2011. – Вып. 15. – С. 31–42.

152. Уткина, Н. Ф. Проблемы науки и мировоззрения в творчестве Л. Н. Толстого / Н. Ф. Уткина // Вопросы философии. – 1978. – № 9. – С. 30–35.
153. Фет, Н. А. О поэтике повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Фет Наталия Абрамовна. – СПб., 1995. – 19 с.
154. Филат, Т. В. Повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»: особенности нарративной структуры, ее семантика и художественная функциональность / Т. В. Филат // Вестник одесского национального университета. Филология. – 2013. – Т. 18. – №. 1 (5). – С. 167–172.
155. Фуко, М. Археология знания / М. Фуко; пер с франц. М. Б. Раковой. – Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия, 2004. – 416 с. – (Серия «Ars Рига. Французская коллекция»). – ISBN 5-93762-034-8.
156. Фуко, М. Рождение клиники / М. Фуко; пер. с франц. и предисловие А. Ш. Тхостова. – Москва : Смысл, 1998. – 320 с. – ISBN 5-89357-030-8.
157. Храпченко, М. Б. Лев Толстой как художник / М. Б. Храпченко. – Москва : Художественная литература, 1978. – 580 с.
158. Цвейг, С. Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой / С. Цвейг, пер. с нем. П. С. Берштейн, В. А. Зоргенфельд – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 352 с. – ISBN 5-222-00201-2.
159. Черняк, А. Я. Л. Н. Толстой и санитарное просвещение // А. Я. Черняк, Л. В. Смирнова // Советское здравоохранение. – 1979. – №1. – С. 53–55.
160. Чигарева, Н. Г. Сыпной тиф эпидемический – болезнь войны, разрухи, нищеты / Н. Г. Чигарева // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко. – 2022. – № 1–2. – С. 150–153.
161. Шкловский, В. Б. Лев Толстой / В. Б. Шкловский. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 656 с.
162. Шкловский, В. Б. Энергия заблуждения / В. Б. Шкловский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 352.

163. Шребер, Д. Г. М. Врачебно-комнатная гимнастика, или изображение и описание врачебно-гимнастических движений, не требующих ни снарядов, ни пособий и потому всегда и везде удобоисполнимых, для всякого возраста и пола / Д. Г. М. Шребер. – Москва : А. Форбрихер, 1856. – 109 с.
164. Щиrowsкий, В. Д. О гошпитальной горячке / В. Д. Щиrowsкий. – Санкт-Петербург : Медицинская типография, 1811. – 89 с.
165. Эйхенбаум, Б. М. Лев Толстой. Книга первая: Пятидесятые годы. / Б. М. Эйхенбаум. – Ленинград : Прибой, 1928. – 416 с.
166. Эйхенбаум, Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы / Б. М. Эйхенбаум. – Ленинград : Художественная литература. Ленинградское отделение, 1974. – 360 с.
167. Эйхенбаум, Б. М. Молодой Толстой / Б. М. Эйхенбаум. – Петербург–Берлин : Издательство З. И. Гржебина, 1922. – 155 с.
168. Эйхенбаум, Б. М. О литературе / Б. М. Эйхенбаум. – Москва : Советский писатель, 1987. – 544 с.
169. Эйхенбаум, Б. М. Творческие стимулы Л. Толстого / Эйхенбаум Б. М. // О прозе. – Ленинград: Художественная литература. Ленинградское отделение, 1969. – С. 77–90.
170. Яровинский, М. Я. «Война и мир» Льва Толстого и Матвея Мудрова / М. Я. Яровинский // Медицинская помощь. – 2002. – № 2. – С. 52–56.
171. Lafontaine, Ch. L'art de magnétiser: ou Le magnetisme animal considéré sous le point de vue théorique, pratique et thérapeutique / Ch. Lafontaine. – Paris : Germer Baillière, 1852. – 356 p.
172. Weber, W. Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge / W. Weber; E. Weber. – Göttingen : Dieterichschen Buchhandlung, 1836. – 426 S.